

ШКОЛЬНАЯ



БИБЛИОТЕКА



Юрий Коваль

«АЛЫЙ»

И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПЕЧАТАЮТСЯ БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ

Дорогие ребята!

Вам хорошо известно творчество замечательного писателя Юрия Коваля. Мультфильм «Приключения Васи Куролесова» и художественные фильмы «Пограничный пес Алый», «Пять похищенных монахов», «Недопёсок Наполеон III» сняты по его произведениям.

В этой книге собраны лучшие рассказы Юрия Иосифовича, талантливого человека с потрясающим чувством юмора и безграничной фантазией. Добрые и смешные истории из деревенской и городской жизни, зарисовки о животных, о природе и месте человека в ней. Каждый рассказ, пусть даже самый маленький, – отдельная история, лаконичная, законченная, написанная простым, понятным и немного ироничным языком.

Читая рассказ за рассказом, как по ступенькам поднимаешься к чему-то светлому, чистому, прекрасному. Именно такое впечатление от прочтения оставляет эта книга.

Юрий Коваль

**«АЛЫЙ»
И ДРУГИЕ
РАССКАЗЫ**



Художник
Олег Горбушин



Приехал на границу молодой боец по фамилии Кошкин. Был он парень румяный и весёлый.

Командир спросил:

– Как фамилия?

– Ёлки-палки, фамилия-то моя Кошкин, – сказал Кошкин.

– А при чём здесь ёлки-палки? – спросил командир и потом добавил: – Отвечай ясно и толково, и никаких ёлок-палок. Вот что, Кошкин, – продолжал командир, – собак любишь?

– Товарищ капитан! – отвечал Кошкин. – Скажу ясно и толково: я собак люблю не очень. Они меня кусают.

– Любишь не любишь, а поедешь ты, Кошкин, учиться в школу собачьих инструкторов.

...Приехал Кошкин в школу собачьих инструкторов. По-настоящему она называется так: школа инструкторов службы собак.

Старший инструктор сказал Кошкину:

– Вот тебе щенок. Из этого щенка нужно сделать настоящую собаку.

– Чтоб кусалась? – спросил Кошкин.

Старший инструктор строго посмотрел на Кошкина и сказал:

– Да.

Кошкин осмотрел щенка. Щенок был небольшой, уши его пока ещё не торчали. Они висели, переломившись пополам. Видно, щенок только ещё начал прислушиваться к тому, что происходит на белом свете.

– Придумай ему имя, – сказал старший инструктор. – В этом году мы всех собак называем на букву «А» – Абрек, Акбар, Артур, Аршин и так далее. Понял?

– Понял, – ответил Кошкин.

Но, по правде говоря, он ничего не понял. Тогда ему

объяснили, что пограничники каждый год называют собак с какой-то одной буквы. Поэтому стоит сказать, как зовут собаку, и ты узнаешь, сколько ей лет и в каком году она родилась.

«Ну и ну! – подумал Кошкин – Здорово придумано!»

Кошкин взял щенка под мышку и понёс его в казарму. Там он опустил его на пол, и первым делом щенок устроил большую лужу.

– Ну и щенок на букву «А»! – сказал Кошкин. – С тобой не соскучишься.

Щенок, понятное дело, ничего на это не ответил. Но после того как Кошкин потыкал его носом в лужу, кое-что намотал на ус.

Вытерев нос щенку специальной тряпкой, Кошкин стал думать: «Как же назвать этого лоботряса? На букву «А», значит... Арбуз?.. Не годится. Агурец? Нет, постой, огурец – на букву «О»...»

– Ну и задал ты мне задачу! – сказал Кошкин щенку.

Кошкин долго перебирал в уме все слова, какие знал на букву «А».

Наконец он придумал ему имя и даже засмеялся от удовольствия. Имя получилось такое – Алы́й.

– Почему Алы́й? – удивлялись пограничники. – Он серый весь, даже чёрный.

– Погодите, погодите, – отвечал Кошкин. – Вот он высунет язык – сразу поймёте, почему он Алы́й.

...Стал Кошкин учить Алого. А старший инструктор учил Кошкина, как учить Алого. Только ничего у них не выходило.

Бросит Кошкин палку и кричит:

– Апорт!

Это значит: принеси.

А Алы́й лежит и не думает бегать за палкой. Алы́й так рассуждает: «Стану я бегать за какой-то палкой! Если б ты

мне бросил кость или хотя бы кусок колбасы – понятно, я бы побежал. А так, ёлки-палки, я лучше полежу».

Словом, Алый был лентяй.

Старший инструктор говорил Кошкину:

– Будьте упорней в достижении своих целей.

И Кошкин был упорен.

– Что ж ты лежишь, голубчик? – говорил он Алому. – Принеси палочку.

Алый ничего не отвечал, а про себя хитро думал: «Что я, балбес, что ли? За палочкой бегать! Ты мне кость брось».

Но кости у Кошкина не было. Он снова кидал палку и уговаривал Алого:

– Цветочек ты мой аленький, лоботрясик ты мой! Принесёшь, ёлки-палки, палку или нет?!

Но Алый тогда поднимался и бежал в другую сторону, а Кошкин бежал за ним.

– Смотри, Алый, – грозился Кошкин, – хвост отвинчу!

Но Алый бежал всё быстрее и быстрее, а Кошкин никак не мог его догнать. Он бежал сзади и грозил Алому кулаком. Но ни разу он не ударил Алого. Кошкин знал, что собак бить – дело последнее.

Прошло несколько месяцев, и Алый подрос. Он стал кое-что понимать. Он понимал, например, что Кошкин – это Кошкин, мужик хороший, который кулаком только грозит. Теперь уж, когда Кошкин бросал палку, Алый так рассуждал: «Хоть это и не кость, а просто палка, ладно уж – принесу».

Он бежал за палкой и приносил её Кошкину. И Кошкин радовался.

– Алый, – говорил он, – ты молодец. Вот получу из дому посылку – дам тебе кусок колбаски: пожуюшь.

А Алый ничего не говорил, но так думал: «Что-то твои посылки, товарищ Кошкин, долго идут. Пока они дойдут, можно с голодухи ноги протянуть».

Но всё же протягивать ноги Алый не собирался. Всех собак кормили хорошо, а Кошкин даже ходил на кухню кланчить кости. И будьте спокойны, Алый эти кости обладывал моментально.

Вскоре Алый вырос и стал совсем хорошо слушаться Кошкина, потому что он полюбил Кошкина. И Кошкин Алого очень полюбил.

Когда Кошкин получал из дому посылку, он, конечно, делился, давал чего-нибудь и Алому пожевать.

Алый посылку ниоткуда не получал, но думал так: «Если б я получил посылку, я бы тебе, Кошкин, тоже отвалил бы чего-нибудь повкуснее».

В общем, жили они душа в душу и любили друг друга всё сильнее и сильнее. А это, что ни говорите, редко бывает.

Старший инструктор частенько говорил Кошкину:

«Кошкин! Ты должен воспитать такую собаку, чтоб и под воду и под воеводу!»

Кошкин плохо представлял себе, как Алый будет подлезать под воеводу, но у старшего инструктора была такая поговорка, и с ней приходилось считаться.

Целыми днями, с утра и до вечера, Кошкин учил Алого. Конечно, Алый быстро понял, что значит «сидеть», «лежать», «к ноге» и «вперёд».

Как-то Кошкин дал ему понюхать драную тряпку. Тряпка как тряпка. Ничего особенного.

Но Кошкин настойчиво совал её Алому под нос. Делать было вроде особенно нечего, поэтому Алый нюхал тряпку и нанюхался до одурения. Потом Кошкин тряпку убрал, а сам куда-то ушёл и вернулся только часа через два.

– Пошли, – сказал он Алому, и они вышли во двор.

Там, во дворе, стояли какие-то люди, закутанные в толстые балахоны. Они стояли спокойно, руками не махали и только смотрели на Алого во все глаза. И вдруг вол-

ной хлестнул запах от одного из них – Алый зарычал и бросился к этому человеку, потому что так точно пахла тряпка, какую давал ему Кошкин.

– Ну что ж, – сказал старший инструктор, который стоял неподалёку, – с чутьём у Алого всё в порядке, но это ещё не самое главное.

Однажды Кошкин посадил Алого в пограничную машину «ГАЗ-69». В машине их уже ожидал старший инструктор. Алый сразу же хотел укусить старшего инструктора, но Кошкин сказал ему:

– Сидеть!

«Я, конечно, могу укусить и сидя, – подумал Алый, – но вижу, ёлки-палки, что этого делать не следует».

Машина немного потряслась на просёлочной дороге и остановилась у леса.

Кошкин и Алый выпрыгнули из кабины, а следом – старший инструктор. Он сказал:

– Товарищ Кошкин! Нарушена государственная граница СССР. Ваша задача: задержать нарушителя!

– Есть задержать нарушителя! – ответил Кошкин как полагается. Потом он погладил Алого и сказал: – Ищи!

Кого искать, Алый сразу не понял. Он просто побежал по опушке леса, а Кошкин – за ним, а старший инструктор – за Кошкиным. Одной рукой Кошкин держал Алого на поводке, другой – придерживал автомат.

Алый пробежал немного вправо, потом немного влево и тут почувствовал запах – чужой и неприятный. Ого! Здесь прошёл человек! Трава, примятая его ногами, успела распрямиться. Но запах-то остался, и Алый рванулся вперёд. Он взял след.

Теперь они бежали по лесу, и ветки сильно хлестали Кошкина по лицу. Так всегда бывает, когда бежишь по лесу, не разбирая дороги.

Тот, кто прошёл здесь несколько часов назад, хитрил,

запутывал след, посыпал его табаком, чтобы отбить у собаки охоту бежать за ним. Но Алый след не бросал.

Наконец они прибежали к небольшому ручью, и здесь Алый забеспокоился. Тот человек прошёл давно, и вода, которая имела его запах, утекла куда-то далеко вниз.

Теперь она пахла водорослями, камешками, проплывающим пескарем. И Алому захотелось поймать этого пескаря. Но пескарь спрятался под камень.

Алый тронул камень, но оттуда выскочили сразу три пескаря.

Тут Кошкин увидел, что Алый ловит пескаря, и сказал:
– Фу!

Они перебрались на другой берег, и снова Алый почувствовал чужой запах.

Скоро они выскочили на открытую поляну и увидели того, за кем гнались.

Тот бежал, и оглядывался, и махал от страха руками, и рукава его одежды были ужасно длинными.

Кошкин бросил поводок, и Алый огромными прыжками стал нагонять нарушителя. Потом он прыгнул последний раз, пролетел по воздуху, ударил бегущего в спину и сшиб его с ног. Тот упал ничком и даже пошевелиться не мог, потому что Алый придавил его к земле.

Кошкин еле оттащил Алого за ошейник.

Тогда лежащий приподнялся и сказал:

– Ну и собачка у вас, товарищ Кошкин! Обалдеть можно!

Человек, за которым они гнались, был не кто иной, как Володька Есаулов, приятель Кошкина и тоже пограничник. И всё это была пока учёба.

Старший инструктор сказал:

Собака работала хорошо. За такую работу ставлю ей отметку четыре.

– За что же четыре? – спросил Кошкин. – Надо бы пять.



– За пескаря, – ответил старший инструктор.

«Проклятый пескарь!» – подумал Кошкин. Он хорошо знал, что пограничная собака не должна отвлекаться, когда идёт по следу.

Все сели в машину, чтобы ехать назад, а Кошкин достал из кармана отличный сухарик и сунул его Алому в пасть.

И Алый, хрустя сухарём, подумал про старшего инструктора и про Володьку Есаулова: «Вам небось после такой беготни тоже хочется погрызть сухарика, да товарищ Кошкин не даёт».

Наконец настал день, когда Кошкин и собака Алый попрощались со школой собачьих инструкторов. Они поехали служить на границу.

Начальник заставы сказал:

– А, ёлки-палки, Кошкин!

– Так точно! – гаркнул Кошкин, да так громко, что у начальника заставы чуть револьвер не выстрелил.

– Вижу, вижу, – сказал начальник, – вижу, что ты научился отвечать как следует. Только попрошу так сильно не орать, а то у меня чуть револьвер не выстрелил.

Потом командир спросил:

– Как же зовут собаку?

– Алый, товарищ капитан.

– Алый? – удивился начальник заставы, – Почему Алый?

– А вы погодите, товарищ капитан, – ответил Кошкин, – вот он высунет язык, и вы сразу поймёте, почему он Алый.

А застава, куда приехали Кошкин и Алый, была в горах. Кругом-кругом, куда ни погляди, всё горы, горы... Все они лесом заросли: ёлками, дикими яблонями. Взбираются деревья вверх, налезают на скалы. А из-под корней вываливаются круглые камни да острые камешки.

– Видишь, Алый, – говорил Кошкин, – вот они, горы. Это тебе не школа собачьих инструкторов.

Алый глядел на горы и думал: «Просто странно, отчего это земля так вздыбилась, к небу колесом пошла?.. Быть бы ей ровной...»

Трудное дело – охранять границу. Днём и ночью ходили Кошкин и Алый по инструкторской тропе. Тропа эта – особая. Никому по ней нельзя ходить, кроме инструктора с собакой, чтобы не было постороннего запаха.

Рядом с инструкторской тропой идёт широкая вспаханная полоса. Кто бы ни пошёл через границу, обязательно оставит след на вспаханной полосе.

Вот Кошкин и Алый ходили по инструкторской тропе и смотрели на вспаханную полосу – нет ли каких следов?

Дни шли за днями, и ничего особенного не происходило. А на вспаханной полосе были только шакальи да заячьи следы.

– Дни идут за днями, – говорил Кошкин, – а ничего особенного не происходит.

«Беда невелика, – думал Алый, – не происходит, не происходит, да вдруг и произойдёт».

И действительно.

Как-то вернулся Кошкин с ночного дежурства и только хотел лечь спать – тревога!

Тревога!

Кто-то перешёл границу!

Тревога!

В ружьё!

Через две минуты на заставе остались только дежурные. Словно ветер сдул пограничников, да так ловко сдул, что они оказались там, где надо...

Кошкин и Алый очутились у горного озера. Там, в озере, плавали форели – тёмные рыбы с коричневыми звёздами на боках.

На берегу Кошкин увидел знакомого старика, который вообще-то жил неподалёку, а сейчас удил форель. Этот старик нередко помогал пограничникам.

– Здравствуй, Александр, – сказал Кошкин.

Старик кивнул.

– Никого не видел? – спросил Кошкин.

– Видел.

– Кого?

– Босого мужика.

– Тю! – сказал Кошкин. – Какого босого мужика?

– Тю, – сказал теперь старик Александр. – Косолапого.

Кошкин плюнул с досады: он вспомнил, что босым называют медведя.

– А больше никого не видел?

– Видел.

– Кого?

– Обутого мужика.

– Ох, – рассердился Кошкин, – дело говори!

Но старик Александр дело говорить не стал. Он любил говорить странно и шутливо, поэтому сейчас он просто ткнул пальцем в сторону лысой горы. Но Кошкину и этого было достаточно. Он сделал Алому знак, и они побежали в ту сторону.

Было тихо, тихо, тихо. Но вдруг откуда-то сорвался ветер, закрутился колесом и донёс до Алого запах, странный, недобрый. Тронул ветер верхушки ёлок и тревожно затих и так притаился, как будто ветра и не было на свете...

Алый взял след. И теперь Кошкин продирался за ним через густые терновники, скатывался в овраги, поросшие ежевикой. Алый шёл по следу возбуждённо – острый, чужой запах бил прямо в нос.

Алый зло залаял, и сразу Кошкин увидел человека – на дереве.

Он сидел на дереве, на дикой яблоне: словно пантера, прижался к чёрному корявому суку.



– Вниз!

И человек спрыгнул с ветки и, отряхиваясь, заговорил:

– Да я так просто, яблочков хотел пожевать, яблочков.

– Оружие – на землю!

– Да нет у меня никакого оружия, – сказал человек. – А я так просто, яблочков хотел было пожевать, кисленьких.

И вдруг он прыгнул на Кошкина и в ту же секунду оказался на земле, потому что Алый сшиб его с ног и прокусил руку, сжимавшую нож.

– О-о-о! – закричал человек, а потом замолчал – так страшно было увидеть над собой раскрытую собачью пасть...

Когда Кошкин вёл его на заставу, он всё бубнил:

– А я-то яблочков хотел было пожевать... – А потом оглядывался на Алого и говорил: – У-у-у! Дьявол проклятый!

Алый бежал сбоку, и что он думал в этот момент, сказать трудно.

Так и служили Кошкин и Алый на границе.

Командир заставы часто посылал их в секрет. Они прятались в кустах и следили, чтоб никто не перешёл границу.

Они так прятались, что их нельзя было увидеть, а они видели всё. Словом, секрет.

Пробегал мимо заяц – они даже и не шевелились. Если пробегал шакал, тогда Алый думал: «Беги, шакал, беги. Жаль, что я пограничная собака, а то бы я тебе уши-то оборвал».

Кошкин, конечно, не знал, о чём думает Алый, но сам глядел на шакала и думал: «Жалко, что Алый – пограничная собака, а то бы он от этого шакала камня на камне не оставил».

Вот так и служили Кошкин и Алый на границе. Время шло и медленно и быстро.

«Медленно-то как идёт время, – думал Кошкин иной раз. «Быстро-то как время бежит», – думал он в другой раз.

Уже наступила весна. С гор текли ручьи из растаявшего снега и льда. На некоторых тёплых местах даже пошевеливались змеи и ящерицы. Было полно подснежников и горных фиалок.

Кошкин и Алый шли по инструкторской тропе.

От ручьёв и тающего снега, мокрых камней и свежей земли, от цветов и от ящериц стоял такой могучий и нежный запах, что у Кошкина кружилась голова и он был ужасно чему-то рад.

Алый фыркал, водил по сторонам мокрым носом и тоже был странно возбуждён.

«Ёлкины палки, – думал Алый. – Что это со мной творится?» Он как-то не понимал, что просто его охватило весеннее собачье веселье.

Чоп-чоп-чоп-чоп! – Алый бежал по оттаявшей вязкой земле.

Фру-фру-фру-фру! – теперь он ломал ледяную корку.

Они спустились в ущелье, и Алый зло ощетинился. И Кошкин сразу увидел следы.

Огромные, чёрные, они ясно отпечатались на вспаханной полосе. Это были совсем свежие следы медведя.

«Может быть, человек?» – подумал Кошкин. Он знал, что есть люди, которые надевают на ноги подобия медвежьих лап, чтобы перейти границу.

Кошкин внимательно оглядел след. Сомнений не было – медведь. Но надо было проверить.

Алый чуть дрожал, скалил зубы, чувствовал зверя. Ясно было – медведь. Только надо было проверить.

– Вперёд! – шепнул Кошкин.

Алый туго потянул поводок и пошёл по следу.

Солнце поднялось выше, и ручьи заурчали погромче.

Послышались новые, самые разнообразные звуки: какие-то потрескивания, позвякивания, потряхивания.

«Оррк! Оррк!» – орал в небе огромный ворон, утомлённый солнечной весной.

След привёл к большим камням, которые громоздились в устье ущелья. Камни были покрыты ледяной коркой, а на ней мелкой россыпью бродили ручейки, разрезали узорными желобками лёд. От камней поднимался пар.

Они вбежали в облако пара, и тотчас закружились белые струйки, как будто все бесчисленные весенние ручейки вдруг рванулись вверх, к небу.

«Ах! Ах! – залаял Алый, и залаял он не так, как обычно, а странно: – Ах! Ах!»

Огромный зверь встал перед ними. И так близко, что видны были весенние капли в блестящей шерсти.

Медведь!

Кошкин изо всей силы рванул поводок и отбросил Алого назад.

Но медведь был по-весеннему зол. Он вздыбил шерсть и замигал глазками, красными и разъярёнными. Прыгнул вперёд, подцепил Алого лапой.

Алый увернулся бы, да камень помешал – камень, окутанный паром. От страшного удара Алый взлетел в воздух, разбрызгивая капли крови.

«Алый!» – хотел крикнуть Кошкин, но крикнул только: – А-а-а... – и поднял автомат, и выстрелил несколько раз.

Мёртвый медведь лежал, вцепившись зубами в камень. Он крепко обнял его мохнатыми лапами, и светлый ручей из расселины хлестал через его голову.

Кошкин перевязал Алого и понёс его на заставу. Все мысли Кошкина запутались, сбились в клубок. Он прижимался ухом к спине Алого и слышал, как невероятно быстро, не по-человечески колотится его сердце.



На заставе фельдшер промыл рану Алого и долго-долго зашивал её. Было ужасно больно. Алому всё время хотелось зря укусить фельдшера, но Кошкин стоял рядом, гладил Алого и нарочно грубо говорил:

– Подумаешь, медведь! Барахло какое!

«Зашивайте, зашивайте поскорее, – думал Алый. – Больно же...»

Когда фельдшер зашил рану, Алый сразу хотел вскочить, но сил-то не было. И Кошкин понёс его в сарайчик, где жили собаки. На руках у Кошкина Алый уснул...

Потом побежали день за днём. Солнце перекатывалось над горами, облака сталкивались в небе с тучами, падал на землю дождь, и навстречу ему выползали из земли толстые стебли, налитые зелёным соком.

Алый всё время чувствовал, как заживает, затягивается его рана, и торопился её лизать. Ему казалось, что он может слизнуть языком тупую, тягучую боль.

Когда рана поджила, Кошкин стал выводить его во двор заставы. Кошкин садился на лавочку и играл на гитаре, а Алый лежал у его ног, мигая на солнце.

Алому было странно слушать, как тянутся звуки со струн, плывут над его головой и закруживают её. Он поднимал голову – и утомительный вой вылетал из его горла. И Алый закрывал глаза и хватал зубами воздух, будто хотел укусить собственную песню.

Подходили пограничники, слушали Алого и смеялись, расспрашивали про медведя.

– Вообще-то я медведей побаиваюсь, – говорил Кошкин, отставив гитару. – Кусаются.

Алый, конечно, ничего не говорил, но думал: «С медведями держи ухо остро».

Весна прошла, а потом прошло и лето, а потом и осень кончилась. Выпал снег. От него выровнялись кривые горы, и даже в ущельях, под нависшими камнями, сделалось ясно.

Хоть и неглубок был первый снег, на нём хорошо был виден след нарушителя. Снег был пробит, продавлен подкованным сапогом до самой земли, до осеннего листа.

– Тяжёлый человек прошёл, – сказал рядовой Снегирёв про того, кто натоптал след.

– Да, – отозвался Кошкин, – тяжеловат.

Алый нервничал, тянул Кошкина по следу, но Кошкин сдерживал его, раздумывал.

– Ну? – спросил Снегирёв.

– Будем преследовать, – отозвался Кошкин и кивнул Алому.



Быстро пошёл Алый по следу. Бежит за ним Кошкин, старается так поспевать, чтобы ошейником не резало ему шею. Снегирёв бежит чуть сзади.

След – в крутую гору. Видно, что «тяжёлому» трудно-вато подниматься. Вот он споткнулся... Стоп! Разглядел Кошкин след, и стало ему понятно, что впереди двое, что «тяжёлый» тащит на себе «лёгкого».

Поднялись в гору – след под гору пошёл. Трудно бежать под гору – пороша все камни покрыла. Оступишься – и выскользнет камешек из-под ноги, да так выскользнет, что тебя перекувырнёт в воздухе да об этот камешек затылком трахнет.

След привёл к дороге, и там Кошкин понял вот какую штуку: «тяжёлый» отпустил «лёгкого». Тот вперёд побежал, а «тяжёлый» его следы затапывал.

Ух, горные дороги! Справа – скала, слева – обрыв, а на дне его – бешеный зелёный ручей. Крутит, вертит дорога вокруг горы – за скалу, за корявую кручу.

Выбежали Кошкин и Алый за поворот – выстрел навстречу. Пуля взвизгнула об камень, ударилась о другой, забилась яростно между камнями, пока не утонула в мягком стволе дерева.

Кошкин и Алый за валуном схоронились, за другим – Снегирёв. Выстрел – занули каменные осколки, пуля другой улетела в небо.



Кошкин выглянул осторожно и увидел, как темнеет за камнем рука с пистолетом, покачивается в воздухе... Ударил Кошкин из автомата и разбил её.

Прыжок – Алый взмахнул на спину «тяжёлого», режет когтями его одежду, страшными зубами шею сдавил.

Подбежали Кошкин и Снегирёв, обезоружили нарушителя, связали. Скорчившись, сидел нарушитель на земле, дрожал, и вокруг него таял снег. Он плевал себе под ноги, и Кошкин Алого в сторону отвёл, будто боялся, что плевки злого человека ядовитые.

Кошкин и Алый побежали дальше по следу, а Снегирёв остался пойманного сторожить.

Дорога здесь была уже нахожена-наезжена, и следы «лёгкого» поэтому часто терялись, затаивались среди следов других людей.

Впереди у дороги стоял дом. Тут жил старик Александр. Кошкин оглядел дом, укрывшись за скалой. В узких окошках ничего не было видно, а на диких яблонях, растущих вокруг, сидели куры.

Алый тянул по следу мимо дома, но Кошкин решил зайти, расспросить Александра.

Старик сидел в комнате, завешанной вязками красного перца и косицами, наплетёнными из лука. Он курил трубку.

– Здравствуй, Александр, – сказал Кошкин, придерживая Алого.

Александр выпустил колесо дыма.

– Здравствуй, Кошкин.

– Никого не видел?

– Видел, – сказал Александр и, косясь на Алого, снова выпустил колесо дыма. Оно неторопливо догнало первое, ещё висящее в воздухе.

– Скорее! – сказал Кошкин. – Скорее говори: где он?

Александр подмигнул Кошкину и выпустил третье колесо.

– Не спеши, не спеши, Кошкин, – сказал Александр и, выпустив четвёртое колесо дыма, встал.

Он подошёл к окну и поглядел в него, а потом поманил Кошкина пальцем.

Кошкин выглянул в окно и увидел врага. С крутого откоса тот спускался вниз, к ручью.

Вода раскалывается о камни, грохочет, разлетается пеной, брызгами.

Прозрачные космы закручиваются, свистят, и медленно-медленно под напором воды сползают камни, подталкивают друг друга скользкими плечами и с внезапным рёвом поворачиваются лениво и грозно набок.

Осторожно спускается Кошкин, прячется за кустами с красными ягодами, за валунами, припорошенными снегом.

За звоном воды, за каменным гулом не слышно шага, треска колючего сучка под ногой. И не слышно, как орёт в небе ворон, а только разевает рот, пролетая за гору.

Алый медленно ведёт, извивается напряжённо, как живая пружина. Он весь наполнен запахом врага, он видит его.

Тот уже у самого ручья. Остановился, думает, где ручей перейти.

Алый сжался в комок.

Вот Кошкин отпустит его.

Вот отпустил...

Алый расстелился по земле – и прыгнул, будто взмахнул всем телом. Остановился, застыл в воздухе на секунду – и рухнул на врага. Ударил его в спину. Рванул.

Тот упал, но вывернул назад руку и выстрелил в Алого – раз, другой, третий.

Алый вырвал пистолет, и металл будто треснул в его зубах, как чёрная кость.

Кошкин ударил врага, скрутил ему руки...



Зелёные дуги сшибаются в ручье, захлестывают друг друга, звон выбивают и пену.

Кошкин глянул на Алого и схватился за голову. Без движения лежал Алый на снегу.

Кошкин поднял его, и тепло-тепло стало его рукам, будто он опустил их внутрь абрикоса, нагретого солнцем.

Тепло струилось между пальцев, утекало, лилось в снег. Руки его стали алыми.

Алый был жив, когда Кошкин принёс его на заставу. Пули не задержались в его теле – вылетели вон.

Алый тяжело дышал, и глаза его то просветлялись, то становились мутными. Кошкин глядел в них и не знал, видит ли его Алый.

Но Алый видел Кошкина и понимал, что это Кошкин – мужик хороший.

– Умрёт он, – сказал фельдшер.

Но Кошкин не поверил. Он сидел рядом с Алым и гладил его по голове. Он рассказывал Алому, что скоро полу-

чит из дому посылку. А там, в этой посылке, чего только не будет: и колбаса, и сало, и коржики.

– То-то пожуюм, – говорил Кошкин.

Алому было приятно слушать голос Кошкина. Но только над головой его поплыли длинные мягкие птицы, закружили её, заморозили. Голова его стала такая тяжёлая, что он не смог её больше держать и уронил на передние лапы.

«Жалко мне тебя, Кошкин...» – подумал было Алый, но не сумел додумать, почему он жалеет Кошкина. Алый вздрогнул два раза и умер.

А Кошкин никак не мог понять, что Алый умер. Он гладил его и говорил:

– И колбаса там будет, и сало, и коржики...



КАРТОФЕЛЬНАЯ СОБАКА

Дядька мой, Аким Ильич Колыбин, работал сторожем картофельного склада на станции Томилино под Москвой. По своей картофельной должности держал он много собак.

Впрочем, они сами приставали к нему где-нибудь на рынке или у киоска «Соки-воды».

От Акима Ильича по-хозяйски пахло махоркой, картофельной шелухой и хромовыми сапогами. А из кармана его пиджака торчал нередко хвост копчёного леща.

Порой на складе собиралось по пять-шесть псов, и каждый день Аким Ильич варил им чугуны картошки. Летом вся эта свора бродила возле склада, пугая прохожих, а зимой псам больше нравилось лежать на тёплой, преющей картошке.

Временами на Акима Ильича нападало желание разбогатеть. Он брал тогда какого-нибудь из своих сторожей на шнурок и вёл продавать на рынок. Но не было случая, чтоб он выручил хотя бы рубль. На склад он возвращался ещё и с приплодом. Кроме своего лохматого товара, приводил и какого-нибудь Тузика, которому некуда было прийтись.

...Весной и летом я жил неподалеку от Томилина, на дачном садовом участке. Участок этот был маленький и пустой, и не было на нём ни сада, ни дачи – росли две ёлки, под которыми стоял сарай и самовар на пеньке.

А вокруг, за глухими заборами, кипела настоящая дачная жизнь: цвели сады, дымились летние кухни, поскрипывали гамаки.

Аким Ильич часто наезжал ко мне в гости и всегда привозил картошки, которая к весне обрастала белыми усами.

– Яблоки, а не картошка! – расхваливал он свой подарок. – Антоновка!

Мы варили картошку, разводили самовар и подолгу сидели на брёвнах, глядя, как между ёлками вырастает новое сизое и кудрявое дерево – самоварный дым.

– Надо тебе собаку завести, – говорил Аким Ильич. – Одному скучно жить, а собака, Юра, это друг человека. Хочешь, привезу тебе Тузика? Вот это собака! Зубы – во! Башка – во!

– Что за имя – Тузик? Вялое какое-то. Надо было назвать покрепче.

– Тузик хорошее имя, – спорил Аким Ильич. – Всё равно как Пётр или Иван. А то назовут собаку Джана или Жеря. Что за Жеря – не пойму.

С Тузиком я встретился в июле.

Стояли тёплые ночи, и я приноровился спать на траве, в мешке. Не в спальном мешке, а в обычном, из-под картошки. Он был сшит из прочного ноздреватого холста для самой, наверно, лучшей картошки сорта «лорх». Почему-то на мешке написано было «Пичугин». Мешок я, конечно, выстирал, прежде чем в нём спать, но надпись отстирать не удалось.

И вот я спал однажды под ёлками в мешке «Пичугин».

Уже наступило утро, солнце поднялось над садами и дачами, а я не просыпался, и снился мне нелепый сон. Будто какой-то парикмахер намаливает мои щёки, чтоб побрить. Дело своё парикмахер делал слишком упорно, поэтому я и открыл глаза.

Страшного увидел я «парикмахера».

Надо мной висела чёрная и лохматая собачья рожа с жёлтыми глазами и разинутой пастью, в которой видны были сахарные клыки. Высунув язык, пёс этот облизывал моё лицо.

Я закричал, вскочил было на ноги, но тут же упал, запутавшись в мешке, а на меня прыгал «парикмахер» и ласково бил в грудь чугунными лапами.

– Это тебе подарок! – кричал откуда-то сбоку Аким Ильич. – Тузик звать!



Никогда я так не плевался, как в то утро, и никогда не умывался так яростно. И пока я умывался, подарок – Тузик – наскочил на меня и выбил в конце концов мыло из рук. Он так радовался встрече, как будто мы и прежде были знакомы.

– Посмотри-ка, – сказал Аким Ильич и таинственно, как фокусник, достал из кармана сырую картофелину.

Он подбросил картофелину, а Тузик ловко поймал её на лету и слопал прямо в кожуре. Крахмальный картофельный сок струился по его кавалерийским усам.

Тузик был велик и чёрен. Усат, броваст, бородат. В этих зарослях горели два жёлтых неугасимых глаза и зияла вечно разинутая мокрая, клыкастая пасть.

Наводить ужас на людей – вот было главное его занятие.

Наевшись картошки, Тузик ложился у калитки, подстерегая случайных прохожих. Издали заметив прохожего, он таился в одуванчиках и в нужный момент выскакивал с чудовищным рёвом. Когда же член дачного кооператива впадал в столбняк, Тузик радостно валился на землю и смеялся до слёз, катаясь на спине.

Чтоб предостеречь прохожих, я решил приколотить к забору надпись: «Осторожно – злая собака». Но подумал, что это слабо сказано, и так написал:

**ОСТОРОЖНО!
КАРТОФЕЛЬНАЯ СОБАКА!**

Эти странные, таинственные слова настраивали на испуганный лад. Картофельная собака – вот ужас-то!

В дачном посёлке скоро прошёл слух, что картофельная собака – штука опасная.

– Дядь! – кричали издали ребяташки, когда я прогуливался с Тузиком. – А почему она картофельная?

В ответ я доставал из кармана картофелину и кидал Тузику. Он ловко, как жонглёр, ловил её на лету и мигом разгрызал. Крахмальный сок струился по его кавалерийским усам.

Не прошло и недели, как начались у нас приключения.

Как-то вечером мы прогуливались по дачному шоссе. На всякий случай я держал Тузика на поводке.

Шоссе было пустынно, только одна фигурка двигалась навстречу. Это была старушка-бабушка в платочке, распisanном огурцами, с хозяйственной сумкой в руке.

Когда она поравнялась с нами, Тузик вдруг клацнул зубами и вцепился в хозяйственную сумку. Я испуганно дёрнул поводок – Тузик отскочил, и мы пошли было дальше, как вдруг за спиной послышался тихий крик:

– Колбаса!

Я глянул на Тузика. Из пасти его торчал огромный батон колбасы. Не коляска, а именно батон толстой варёной колбасы, похожий на дирижабль.

Я выхватил колбасу, ударил ею Тузика по голове, а потом издали поклонился старушке и положил колбасный батон на шоссе, подстелив носовой платок.

По натуре своей Тузик был гуляка и барахольщик. Дома он сидеть не любил и целыми днями бегал где придётся. Набегавшись, он всегда приносил что-нибудь домой: детский ботинок, рукава от телогрейки, бабу тряпичную на чайник. Всё это он складывал к моим ногам, желая меня порадовать. Честно сказать, я не хотел его огорчать и всегда говорил:

– Ну молодец! Ай запасливый хозяин!

Но вот как-то раз Тузик принёс домой курицу. Это была белая курица, абсолютно мёртвая.

В ужасе метался я по участку и не знал, что делать с курицей. Каждую секунду, замирая, глядел я на калитку: вот войдёт разгневанный хозяин.

Время шло, а хозяина курицы не было. Зато появился Аким Ильич.

Сердечно улыбаясь, шёл он от калитки с мешком картошки за плечами. Таким я помню его всю жизнь: улыбающимся, с мешком картошки за плечами.

Аким Ильич скинул мешок и взял в руки курицу.

– Жирная, – сказал он и тут же грянул курицей Тузика по ушам.

Удар получился слабенький, но Тузик-обманщик заныл и застонал, пал на траву, заплакал поддельными собачьими слезами.

– Будешь или нет?!

Тузик жалобно поднял вверх лапы и скорчил точно такую горестную рожу, какая бывает у клоуна в цирке, когда его нарочно хлопнут по носу. Но под мохнатыми бровями светился весёлый и нахальный глаз, готовый каждую секунду подмигнуть.

– Понял или нет?! – сердито говорил Аким Ильич, тыча курицу ему в нос.

Тузик отворачивался от курицы, а потом отбежал два шага и закопал голову в опилки, горкой насыпанные под верстаком.

– Что делать-то с нею? – спросил я.

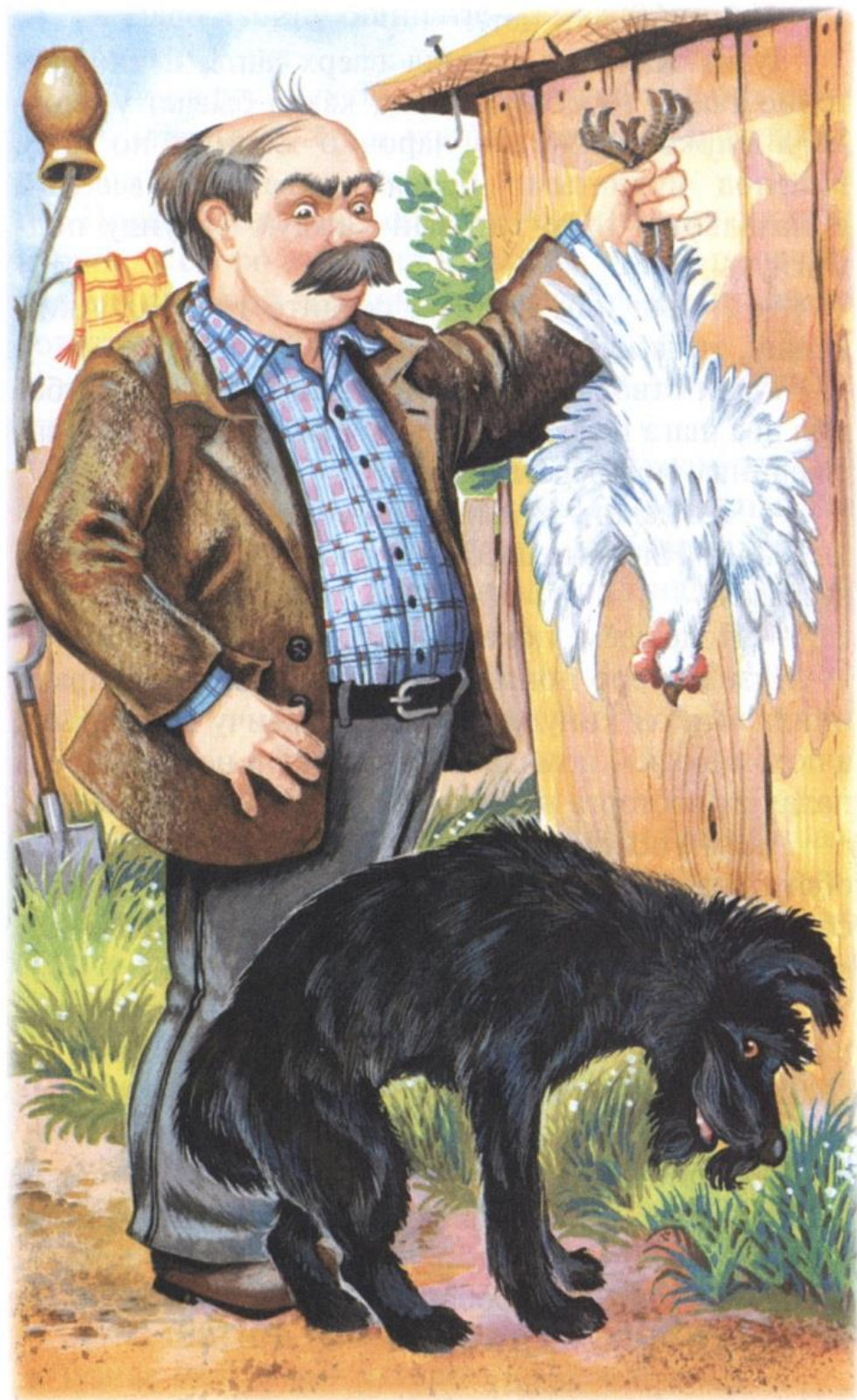
Аким Ильич подвесил курицу под крышу сарая и сказал:

– Подождём, пока придёт хозяин.

Тузик скоро понял, что гроза прошла. Фыркая опилками, он кинулся к Акиму Ильичу целоваться, а потом вихрем помчался по участку и несколько раз падал от восторга на землю и катался на спине.

Аким Ильич приладил на верстак доску и стал обстругивать её фуганком. Он работал легко и красиво – фуганок скользил по доске, как длинный корабль с кривою трубой.

Солнце пригревало крепко, и курица под крышей задышалась. Аким Ильич глядел тревожно на солнце, клонящееся к обеду, и говорил многозначительно:



– Курица тухнет!

Громила Тузик прилёг под верстаком, лениво вывалив язык. Сочные стружки падали на него, повисали на ушах и на бороде.

– Курица тухнет!

– Так что ж делать?

– Надо курицу ощипать, – сказал Аким Ильич и подмигнул мне.

И Тузик дружелюбно подмигнул из-под верстака.

– Заводи-ка, брат, костёр. Вот тебе и стружка на растопку.

Пока я возился с костром, Аким Ильич ощипал курицу, и скоро забултыхал в котелке суп. Я помешивал его длинной ложкой и старался разбудить свою совесть, но она дремала в глубине души.

– Пообедаем, как люди, – сказал Аким Ильич, присаживаясь к котелку.

Чудно было сидеть у костра на нашем отгороженном участке. Вокруг цвели сады, поскрипывали гамаки, а у нас – лесной костёр, свободная трава.

Отобедав, Аким Ильич подвесил над костром чайник и запел:

*Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина...*

Тузик лежал у его ног и задумчиво слушал, шуршал ушами, будто боялся пропустить хоть слово. А когда Аким Ильич добрался до слов «но нельзя рябине к дубу перебраться», на глаза Тузика набежала слеза.

– Эй, товарищи! – послышалось вдруг.

У калитки стоял какой-то человек в соломенной шляпе.

– Эй, товарищи! – кричал он. – Кто тут хозяин?

Разомлевший было Тузик спохватился и с проклятьями кинулся к забору.

– В чём дело, земляк? – крикнул Аким Ильич.

– В том, что эта скотина, – тут гражданин ткнул в Тузика пальцем, – утащила у меня курицу.

– Заходи, земляк, – сказал Аким Ильич, цыкнув на Тузика, – чего через забор попусту кричать.

– Нечего мне у вас делать, – раздражённо сказал хозяин курицы, но в калитку вошёл, опасливо поглядывая на Тузика.

– Сядем потолкуем, – говорил Аким Ильич. – Сколько же вы кур держите? Наверно, десять?

– «Десять»!.. – презрительно хмыкнул владелец. – Двадцать две было, а теперь вот двадцать одна.

– Очко! – восхищённо сказал Аким Ильич. – Куриный завод! Может быть, и нам кур завести? А?.. Нет, – продолжал Аким Ильич, подумав, – мы лучше сад насадим. Как думаешь, земляк, можно на таком участке сад насадить?

– Не знаю, – недовольно ответил земляк, ни на секунду не отвлекаясь от курицы.

– Но почвы здесь глинистые. На таких почвах и картошка бывает мелкая, как горох.

– Я с этой картошкой совсем измучился, – сказал хозяин курицы. – Такая мелкая, что сам не кушаю. Курам варю. А сам всё макароны, макароны...

– Картошки у него нету, а? – сказал Аким Ильич и хитро посмотрел на меня. – Так ведь у нас целый мешок. Бери.

– На кой мне ваша картошка! Курицу гоните. Или сумму денег.

– Картошка хорошая! – лукаво кричал Аким Ильич. – Яблоки, а не картошка. Антоновка! Да вот у нас есть отварная, попробуй-ка.

Тут Аким Ильич вынул из котелка отваренную картофелину и мигом содрал с неё мундир, сказавши:

– Пирожное.

– Нешто попробовать? – засомневался владелец курицы. – А то всё макароны, макароны...

Он принял картофелину из рук Акима Ильича, посолил её хозяйственно и надкусил.

– Картошка вкусная, – рассудительно сказал он. – Как же вы её выращиваете?

– Мы её никак не выращиваем, – засмеялся Аким Ильич, – потому что мы работники картофельных складов. Она нам полагается как паёк. Насыпай сколько надо.

– Пусть ведро насыплет, и хватит, – вставил я.

Аким Ильич укоризненно поглядел на меня.

– У человека несчастье: наша собака съела его курицу. Пусть сыплет сколько хочет, чтоб душа не болела.

На другой же день я купил в керосиновой лавке толковую цепь и приковал картофельного пса к ёлке.

Кончились его лебединые деньки.

Тузик обиженно стонал, плакал поддельными слезами и так дёргал цепь, что с ёлки падали шишки. Только лишь вечером я отмыкал цепь, выводил Тузика погулять.

Подошёл месяц август. Дачников стало больше. Солнечными вечерами дачники в соломенных шляпах вежливо гуляли по шоссе. Я тоже завёл себе шляпу и прогуливался с Тузиком, напустив на своё лицо вечернюю дачную улыбку.

Тузик-обманщик на прогулках прикидывался воспитанным и любезным псом, важно поглядывал по сторонам, горделиво топорщил брови, как генерал-майор.

Встречались нам дачники с собаками – с ирландскими сеттерами или борзыми, изогнутыми, как скрипичный ключ. Издали завидев нас, они переходили на другую сторону шоссе, не желая приближаться к опасной картофельной собаке.

Тузику на шоссе было неинтересно, и я отводил его подальше в лес, отстёгивал поводок.

Тузик не помнил себя от счастья. Он припадал к земле и глядел на меня так, будто не мог налюбоваться, фыркал, кидался с поцелуями, как футболист, который забил гол. Некоторое время он стремительно носился вокруг и, совершив эти круги восторга, мчался куда-то изо всех сил, сшибая пеньки. Мигом скрывался он за кустами, а я бежал нарочно в другую сторону и прятался в папоротниках.

Скоро Тузик начинал волноваться: почему не слышно моего голоса?

Он призывно лаял и носился по лесу, разыскивая меня. Когда же он подбегал поближе, я вдруг с рёвом выскакивал из засады и валил его на землю.

Мы катались по траве и рычали, а Тузик так страшно клацал зубами и так вытаращивал глаза, что на меня напал смех.

Душа у владельца курицы, видимо, всё-таки болела.

Однажды утром у калитки нашей появился сержант милиции. Он долго читал плакат про картофельную собаку и наконец решил войти.

Тузик сидел на цепи и, конечно, издали заметил милиционера. Он прицелился в него глазом, хотел было грозно залаять, но почему-то раздумал. Странное дело: он не рычал и не грыз цепь, чтоб сорваться с неё и растерзать вошедшего.

– Собак распускаете! – сказал между тем милиционер, строго приступая к делу.

Я слегка окаменел и не нашёлся, что ответить. Сержант смерил меня взглядом, прошёлся по участку и заметил мешок с надписью «Пичугин».

– Это вы Пичугин?

– Да нет, – растерялся я.

Сержант достал записную книжку, что-то черкнул в ней карандашиком и принялся рассматривать Тузика. Под милицейским взглядом Тузик как-то весь подтянулся и

встал будто бы по стойке «смирно». Шерсть его, которая обычно торчала безобразно во все стороны, отчего-то разгладилась, и его оперение теперь можно было назвать «приличной причёской».

– На эту собаку поступило заявление, – сказал сержант, – в том, что она давит кур. А вы этих кур поедаете.

– Всего одну курицу, – уточнил я. – За которую заплачено.

Сержант хмыкнул и опять принялся рассматривать Тузика, как бы фотографируя его взглядом.

Миролюбиво виляя хвостом, Тузик повернулся к сержанту правым боком, дал себя сфотографировать и потом повернулся левым.

– Это очень мирная собака, – заметил я.

– А почему она картофельная? Это что ж, порода такая?

Тут я достал из кармана картофелину и бросил её Тузику. Тузик ловко перехватил её в полёте и культурно скушал, деликатно поклонившись милиционеру.

– Странное животное, – подозрительно сказал сержант. – Картошку ест сырую. А погладить его можно?

– Можно.

Только тут я понял, какой всё-таки Тузик великий актёр. Пока сержант водил рукою по нечёсаному загривку, картофельный пёс застенчиво прикрывал глаза, как делают это комнатные собачки, и вилял хвостом. Я даже думал, что он лизнёт сержанта в руку, но Тузик удержался.

– Странно, – сказал сержант. – Говорили, что это очень злая картофельная собака, которая всех терзает, а тут я её вдруг глажу.

– Тузик чувствует хорошего человека, – не удержался я.

Сержант похлопал ладонью о ладонь, отряхнул с них собачий дух и протянул мне руку:

– Растрёпин. Будем знакомы.



Мы пожали друг другу руки, и сержант Растрёпин направился к воротам. Проходя мимо Тузика, он наклонился и по-отечески потрепал пса.

– Ну молодец, молодец, – сказал сержант.

И вот тут, когда милиционер повернулся спиной, проклятый картофельный пёс-обманщик встал вдруг на задние лапы и чудовищно гаркнул сержанту в самое ухо. Полубледный Растрёпин отскочил в сторону, а Тузик упал на землю и смеялся до слёз, катаясь на спине.

– Ещё одна курица, – крикнул издали сержант, – и всё! Протокол!

Но не было больше ни кур, ни заявлений. Лето кончилось. Мне надо было возвращаться в Москву, а Тузику – на картофельный склад.

В последний день августа на прощанье пошли мы в лес. Я собирал чернушки, которых высыпало в тот год очень много. Тузик угрюмо брёл следом.

Чтоб немного развеселить пса, я кидался в него лопухими чернушками, да что-то всё мазал, и веселья не получалось. Тогда я спрятался в засаду, но Тузик быстро разыскал меня, подошёл и прилёг рядом. Играть ему не хотелось.

Я всё-таки зарычал на него, схватил за уши. Через секунду мы уже катались по траве. Тузик страшно разевал пасть, а я нахлобучил ему на голову корзинку вместе с грибами. Тузик скинул корзинку и так стал её терзать, что чернушки запищали.

Под вечер приехал Аким Ильич. Мы наварили молодой картошки, поставили самовар. На соседних дачах слышались торопливые голоса, там тоже готовились к отъезду: увязывали узлы, обрывали яблоки.

– Хороший год, – говорил Аким Ильич. – Урожайный. Яблоков много, грибов, картошки.

По дачному шоссе пошли мы на станцию и долго ожидали электричку. На платформе было полно народу, по-

всюду стояли узлы и чемоданы, корзины с яблоками и с грибами, чуть ли не у каждого в руке был осенний букет.

Прошёл товарный поезд в шестьдесят вагонов. У станции электровоз взревел, и Тузик разъярился. Он свирепо кидался на пролетающие вагоны, желая нагнать на них страху. Вагоны равнодушно мчались дальше.

– Ну, чего ты расстроился? – говорил мне Аким Ильич. – В твоей жизни будет ещё много собак.

Подошла электричка, забитая дачниками и вещами.

– И так яблоку негде упасть, – закричали на нас в тамбуре, – а эти с собакой!

– Не волнуйся, земляк! – кричал в ответ Аким Ильич. – Было б яблоко, а куда упасть, мы устроим.

Из вагона доносилась песня, там пели хором, играли на гитаре. Раззадоренный песней из вагона, Аким Ильич тоже запел:

*Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина...*

Голос у него был очень красивый, громкий, деревенский.

Мы стояли в тамбуре, и Тузик, поднявшись на задние лапы, выглядывал в окно. Мимо пролетали берёзы, рябины, сады, набитые яблоками, золотыми шарами.

Хороший это был год, урожайный.

В тот год в садах пахло грибами, а в лесах – яблоками.



На Птичьем рынке за три рубля купил я себе клеста.

Это был клёст-сосновик, с перьями кирпичного и клюквенного цвета, с клювом, скрещенным, как два кривых костяных ножа.

Лапы у него были белые – значит, сидел он в клетке давно. Таких птиц называют «сиделый».

– Сиделый, сиделый, – уверял меня продавец. – С весны сидит.

А сейчас была уже холодная осень. Над Птичьим рынком стелился морозный пар и пахло керосином. Это продавцы тропических рыбок обогревали аквариумы и банки керосиновыми лампами.

Дома я поставил клетку на окно, чтоб клёст мог поглядеть на улицу, на мокрые крыши сокольнических домов и серые стены мельничного комбината имени Цюрупы.

Клёст сидел на своей жёрдочке торжественно и гордо, как командир на коне.

Я бросил в клетку семечко подсолнуха.

Командир соскочил с жёрдочки, взмахнул клювом – семечко разлетелось на две половинки. А командир снова взлетел на своего деревянного коня, пришпорил и замер, глядя вдаль.

Какой удивительный у него клюв – крестообразный. Верхняя часть клюва загнута вниз, а нижняя – вверх. Получается что-то вроде буквы «Х». Этой буквой «Х» клёст лихо хватает подсолнух – трах! – шелуха в стороны.

Надо было придумать клесту имя. Мне хотелось, чтоб в имени был отмечен и его командирский нрав, и крепкий клюв, и красный цвет оперения.

Нашлось только одно слово, в котором есть и клюв и красный цвет, – клюква.

Подходящее слово. Жаль только, нет в клюкве ничего командирского. Я долго прикидывал так и эдак и назвал клеста – Капитан Клюквин.



Всю ночь за окном слышен был дождь и ветер.

Капитан Клюквин спал беспокойно, встряхивался, будто сбрасывал с перьев капли дождя.

Его настроение передалось мне, и я тоже спал неважно, но проснулся всё же пораньше, чтобы послушать утреннюю песню Капитана.

Рассвело. Солнечное пятно еле наметилось в пасмурных облаках, низко бегущих над крышей мелькомбината.

«Цик...» – услышал я.

Потом ещё:

«Цик, цик...»

«Убогая песня, – думал я. – «Цик», и всё. Маловато».

Почистив перья, Капитан Клюквин снова начал пикать. Вначале медленно и тихо, но после разогнался и кончил увесисто и сочно: «Цок!»

Новое колено в песне меня порадовало, но Капитан замолчал. Видно, он переживал, выдерживал паузу, прислушивался к песне, которая, так сказать, зрела у него в груди.

Впрочем, и настоящие певцы-солисты не сразу начинают кричать со сцены. Настоящий солист-вокалист постоит немного, помолчит, прислушается к песне, которая зреет в груди, и только потом уж грянет: «Люблю я макароны!..»

Капитан помолчал, поглядел задумчиво в окно и запел.

Песня началась глухо, незаметно. Послышался тихий и печальный звук, что-то вроде «тиуууу-лиууу». Звук этот сменился задорным посвистом. А после зазвенели колокольчики, словно от жаворонка, трели и рулады, как у певчего дрозда.

Капитан Клюквин был, оказывается, настоящий певец, со своей собственной песней.

Всё утро слушал я песню клеста, а потом покормил его подсолнухами, давленными кедровыми орехами и коноплей.

Пасмурная осень тянулась долго. Солнечных дней выпадало немного, и в комнате было тускло. Только огненный Капитан Клюквин веселил глаз.

Красный цвет горел на его перьях. А некоторые были оторочены оранжевым, напоминали осенние листья. На спине цвет перьев вдруг становился зелёный, лесной, моховой.

И характер у Капитана был весёлый. Целый день прыгал он по клетке, расшатывал клювом железные прутья или выламывал дверцу. Но больше всего он любил долбить еловые шишки. Зажав в когтях шишку, он вонзал клюв под каждую чешуйку и доставал оттуда смоляное семечко. Гладкая, оплывшая смолой шишка становилась похожей на растрёпанного воробья. Скоро от неё оставалась одна кочерыжка. Но и кочерыжку Капитан долбил до тех пор, пока не превращал в щепки.

Прикончив все шишки, Капитан принимался долбить бузинную жёрдочку – своего деревянного коня. Яростно цокая, он смело рубил сук, на котором сидел.

Мне захотелось, чтоб Клюквин научился брать семечки из рук.

Я взял семечко и просунул его в клетку. Клюквин сразу понял, в чём дело, и отвернулся.

Тогда я сунул семечко в рот и, звонко цокнув, разгрыз его. Удивительно посмотрел на меня Капитан Клюквин. Во взгляде его были и печаль, и досада, и лёгкое презрение ко мне.

«Мне от вас ничего не надо», – говорил его взгляд.

Да, Капитан Клюквин имел гордый характер, и я не стал с ним спорить, сдался, бросил семечко в кормушку. Клёт мигом разгрыз его.

– А теперь ещё, – сказал я и просунул в клетку новое семечко.

Капитан Клюквин цокнул, вытянул шею и вдруг схватил семечко.

С тех пор каждый день после утренней песни я кормил его семечками с руки.

Осень между тем сменилась плохонькой зимой. На улице бывал то дождь, то снег, и только в феврале начались морозы. Крыша мелькомбината наконец-таки покрылась снегом.

Кривоклювый Капитан пел целыми днями, и песня его звучала сочно и сильно.

Один раз я случайно оставил клетку открытой.

Капитан сразу вылез из неё и вскарабкался на крышу клетки. С минуту он подбадривал себя песней, а потом решил лететь. Пролетев по комнате, он опустился на стеклянную крышку аквариума и стал разглядывать, что там делается внутри, за стеклом.

Там под светом рефлектора раскинулись тропические водоросли, а между ними плавали королевские тетры – тёмные рыбки, рассечённые золотой полосой.

Подводный мир заморозил клеста. Радостно цокнув, он долбанул в стекло кривым клювом. Вздروгнули королевские тетры, а клёст полетел к окну.

Он ударился головой о стекло и, ошеломлённый, упал вниз, на крышу клетки...

В феврале я купил себе гитару и стал разыгрывать пьесы старинных итальянских композиторов. Чаще всего я играл Пятый этюд Джульяни.

Этот этюд играют все начинающие гитаристы. Когда его играешь быстро, звуки сливаются, и выходит – вроде ручеек журчит. У меня ручейка не получалось; вернее, тёк он слишком уж медленно, но всё-таки дотекал до заключительного аккорда.

Капитан Клюквин отнёсся к моей игре с большим вниманием. Звуки гитары его потрясли. Он даже бросил петь и только изредка восхищённо цокал.

Но скоро он перешёл в наступление. Как только я брал



гитару, Клюквин начинал свистеть, стараясь меня заглушить.

Я злился и швырял в клеста пустыми шишками или загонял его в клетку, а клетку накрывал пиджаком. Но и оттуда доносилось зловещее цыканье Капитана.

Когда я выучил этюд и стал играть его получше, Клюквин успокоился. Он пел теперь тише, приравливаясь к гитаре.

До этого мне казалось, что клёт поёт бестолково и только мешает, но, прислушавшись, я понял, что Капитан Клюквин украшает мою игру таинственными, хвойными, лесными звуками.

Конечно, выглядело всё это не так уж прекрасно – корявая игра на гитаре сопровождалась кривоносым пением, но я пришёл в восторг и мечтал уже выступить с Капитаном в Центральном доме детей железнодорожников.

Теперь ручеек потёк более уверенно, и Капитан Клюквин добавлял в него свежую струю.

Он не любил повторяться и всякий раз пел новую песню. Иногда она бывала звонкой и радостной, иногда – печальной.

А я по-прежнему пилил одно и то же. Каждый день перед заходом солнца Капитан вылетал из клетки, усаживался на аквариум и, пока я настраивал гитару, легонько цокал, прочищая горло.

Солнце постепенно уходило, пряталось за мелькомбинатом, и в комнате становилось сумеречно, только светился аквариум. В сумерках Клюквин пел особенно хорошо, душевно.

Мне нравились наши гитарные вечера, но хотелось, чтоб клёт сидел ко мне поближе, не на аквариуме, а на грифе гитары.

Как-то после утренней песни я не стал его кормить. Капитан Клюквин вылетел из клетки, обшарил шкаф и

письменный стол, но не нашёл даже пустой ольховой шишечки. Голодный и злой, он попил из аквариума и вдруг почувствовал запах смолы.

На гитаре, что, висела на стене, за ночь выросла шишка, как раз на грифе, на том самом месте, где находятся колки для натягивания струн. Шишка была свежая, от неё крепко пахло смолой.

Капитан взлетел и, вцепившись в шишку когтями, стал отдирать её от грифа. Однако шишка – хе-хе! – была прикручена проволокой. Пришлось долбить её на месте.

Подождав, пока клёт хорошенько вгрызётся в шишку, я стал осторожно снимать с гвоздя гитару.

Капитан зарычал на меня.

Отделив гитару от стены, я плавно повлёк её по комнате и через минуту сидел на диване. Гитара была в руках, а на грифе трещал шишкой Капитан Клюквин.

Левая рука моя медленно поползла по грифу, всё ближе подбираясь к шишке. Капитан сердито цокнул, подскочил ко второму ладу и ущипнул меня за палец. Раздражённо помахав крыльями, он пошёл пешком по грифу доколупывать свою шишку.

Ласково взял я первую ноту – задрезжала шишка, а клёт подпрыгнул и зацокал громко и радостно, как лошадь копытами по мостовой.

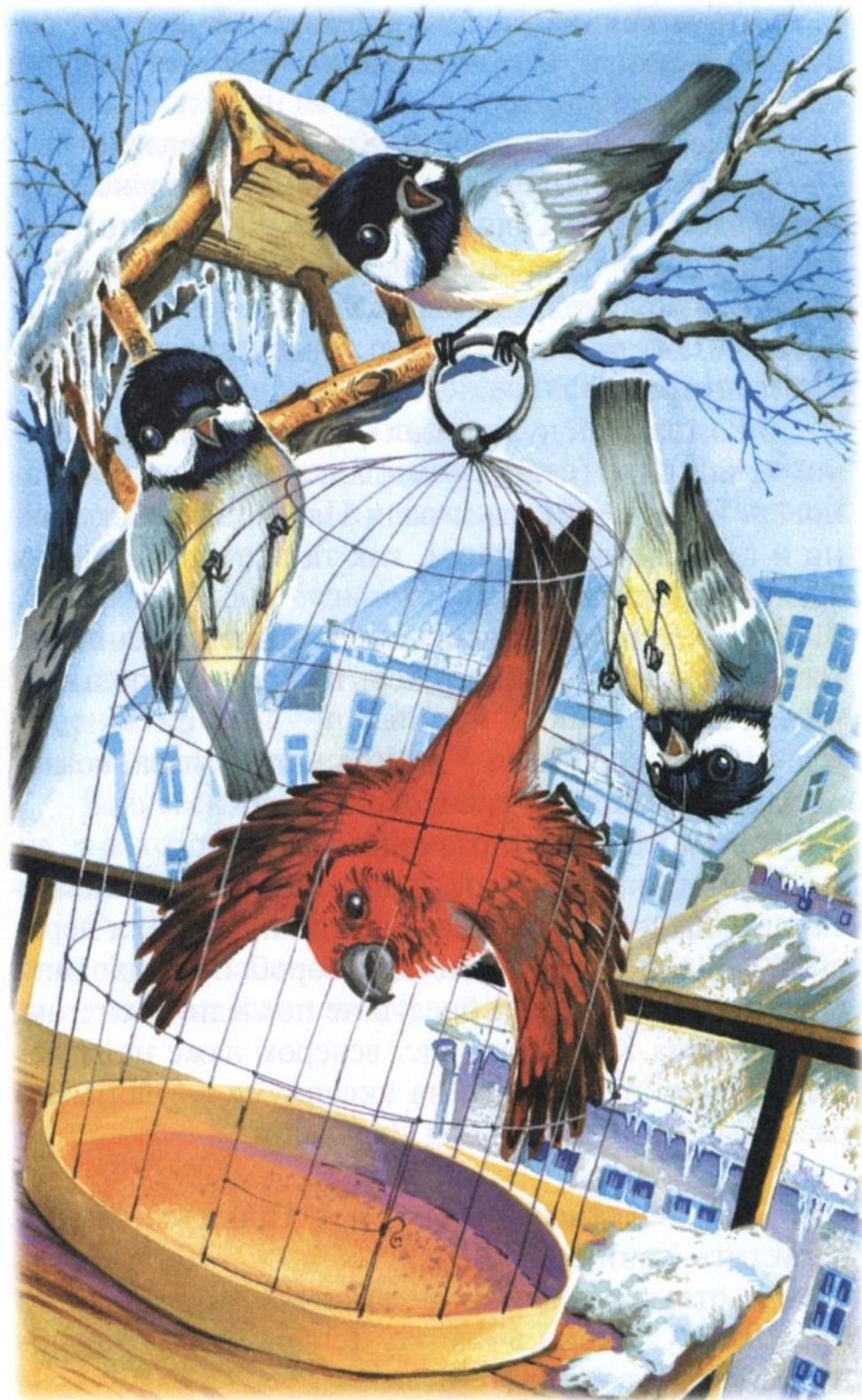
Оканчивался месяц март.

С крыши мелькомбината свешивались крупные сосульки, облепленные мукой.

В хорошую погоду я выставлял клетку на балкон, и Капитан Клюквин весь день дышал свежим воздухом, пел, клевал снег и сосульки.

На звук его голоса залетали синицы-московки. Они клевали коноплю и сало в кормушках, пересвистываясь с Капитаном.

Иногда синицы садились на крышу клетки и начинали



дразнить клеста, сыпали на него снег и тинькали в самое ухо.

Клюквин реагировал на синиц по-капитански. Он воинственно цокал, стараясь ухватить московку за ногу.

Синицы увёртывались и хохотали.

Но вот солнце стало припекать как следует, сосульки растаяли. С крыши мелькомбината рабочие скидывали старый серый снег.

Тепло подействовало на Капитана неважно.

С кислым видом сидел он на жёрдочке, и я прикрывал его от солнца фанеркой. И синицы стали наводить на него уныние. С их прилётом Клюквин мрачнел, прятал голову в плечи и бросал петь. А когда они улетали, выпускал вдогонку звонкую трель.

В комнате он чувствовал себя даже лучше: аквариум, шишки, гитара – милая, привычная обстановка. По вечерам мы играли Пятый этюд Джульяни и глядели на аквариум, как там течёт подводная жизнь в тропиках.

В середине апреля Клюквин совсем захандрил. Даже шишки он долбил теперь не с таким яростным интересом.

«Что ж, – думал я, – ему не хватает леса, воздуха. Понесу его в парк, в Сокольники».

В воскресенье отправились мы в парк.

В тени, окружённый ёлками, Клюквин оживился: пел, прыгал по клетке, глядел на макушки деревьев. На свист его подлетали воробьи, подходили поздние лыжники, еле бредущие последним снегом.

Но дома Клюквин скис, вечером даже не вылетел из клетки посидеть на аквариуме – напрасно разыгрывал я Пятый этюд Джульяни.

«Дела неважные, – думал я. – Придётся, видно, отпустить Капитана».

Но отпускать его было опасно. Слишком долго просидел Клюквин в клетке. Теперь он мог погибнуть в лесу, от которого отвык.

«Ладно, – решил я, – пусть сам выбирает».

И вот я устроил в комнате ярмарку: развесил под потолком гирлянды еловых и ольховых шишек, кисти калины и рябины, связанные венниками, повсюду натывал еловых веток.

Капитан Клюквин следил за мною с интересом. Он весело цокал, удивляясь, видно, моей щедрости.

Потом я вынес клетку на балкон, повесил её на гвоздик и открыл дверцу. Теперь Клюквин мог лететь в комнату, где раскачивались под потолком шишки, где светился аквариум.

Капитан Клюквин вышел на порог клетки, вскарабкался на её крышу, клюнул зачем-то железный прут и... полетел.

С высокого седьмого этажа он полетел было вниз, к мельничному комбинату имени Цюрупы, потом резко повернул, набрал высоту. Мелькнули красные крылья – и Капитан пропал, улетел за наш дом, за пожарную каланчу, к сокольническому лесу.

Всю весну не снимал я клетку с гвоздя на балконе, а в комнате сохли под потолком связки калины и рябины, гирлянды шишек.

Стояли тёплые майские дни. Каждый вечер я сидел на балконе и наигрывал Пятый этюд Джульяни, ожидая Капитана Клюквина.



В первый раз она появилась вечером. Подбежала чуть ли не к самому костру, схватила хариусовый хвостик, который валялся на земле, и утащила под гнилое бревно.

Я сразу понял, что это не простая мышшь. Куда меньше полёвки. Темней. И главное – нос! Лопаточкой, как у кро-та.

Скоро она вернулась, стала шмыгать у меня под нога-ми, собирать рыбки косточки и, только когда я сердито топнул, спряталась.

«Хоть и не простая, а всё-таки мышшь, – думал я. – Пусть знает своё место».

А место её было под гнилым кедровым бревном. Туда тащила она добычу, оттуда вылезла и на другой день.

Да, это была не простая мышшь! И главное – нос! Лопаточкой! Таким носом только землю рыть.

А землероек, слышал я, знатоки различают по зубам. У одних землероек зубы бурые, у других – белые. Так их и называют: бурозубки и белозубки. Кем была эта мышшка, я не знал и заглядывать ей в рот не торопился. Но почему-то хотелось, чтобы она была белозубкой.

Так я и назвал её Белозубкой – наугад.

Белозубка стала появляться у костра каждый день и, как я ни топал, собирала хвосты-плавнички. Съесть всё это она никак не могла, значит, делала на зиму запасы, а под гнилым кедровым бревном были у неё тайные погреба.

К осени начались в тайге дожди, я стал ужинать в избушке.

Как-то сидел у стола, пил чагу с сухарями.

Вдруг что-то зашуршало, и на стол выскочила Бело-зубка, схватила самый большой сухарь. Тут же я щёлкнул её пальцем в бок.

«Пи-пи-пи!» – закричала Белозубка.



Прижав к груди сухарь, она потащила его на край стола, скинула на пол, а сама легко сбежала вниз по стене, к которой был приколочен стол. Очутившись на полу, она подхватила сухарь и потащила к порогу. Как видно, в погребках её, под гнилым кедровым бревном, было ещё много места.

Я торопливо съел все сухари, запил это дело чагой.

Белозубка вернулась и снова забралась на стол. Я шевелился, кряхтел и кашлял, стараясь напугать её, но она не обращала внимания, бегала вокруг пустого стакана, разыскивая сухари. Я просто не знал, что делать. Не драться же с ней. Взял да и накрыл её стаканом.

Белозубка ткнулась носом в стекло, поднялась на задние лапы, а передними стукнула в гранёную стенку.

«Посидишь немного, – думал я. – Надо тебя проучить, а то совсем потеряла совесть».

Оставив Белозубку в заточении, я вышел из избушки поглядеть, не перестал ли дождь.

Дождь не переставал. Мелкий и холодный, сеялся он сквозь еловые ветки, туманом окутывал верхушки пихт. Я старался разглядеть вершину горы Мартай – нет ли там снега? – но гора была закрыта низкими жидкими облаками.

Я продрог и, вернувшись в избушку, хотел налить себе чаги погорячей, как вдруг увидел на столе вторую Белозубку.

Первая сидела под стеклянным колпаком, а вторая бродила по столу.

Эта вторая была крупнее первой и вела себя грубо, бесцеремонно. Прошлась по моим рисункам, пнула плечом спичечную коробку. По манерам это была уже не Белозубка, а какой-то суровый дядя Белозуб. И лопаточка его казалась уже лопатой, на которой росли короткие усы.

Дядя Белозуб обошёл стакан, где сидела Белозубка, сунул нос под гранёный край, стараясь его приподнять. Ни-

чего не получилось. Тогда дядя ударил в стекло носом. Стакан чуть отодвинулся.

Дядя Белозуб отступил назад, чтоб разогнаться и протаранить стакан, но тут я взял второй стакан да и накрыл дядю.

Это его потрясло. Он никак не предполагал, что с ним может случиться то же, что с Белозубкой. Растеряв свою гордость, он сжался в комочек и чуть не заплакал.

Надо сказать, я и сам растерялся.

Передо мной на столе кверху дном стояли два стакана, в которых сидели Белозубка и Белозуб. Сам я сидел на лавке, держа в руках третий стакан, треснутый.

Неожиданно почувствовал я всю глупость своего положения: один в таёжной избушке, в сотне километров от людей, сидел я у стола и накрывал землероек стаканами. Отчего-то стало обидно за себя, за свою судьбу. Захотелось что-то сделать, что-то изменить. Но что я мог сделать? Мог только выйти поглядеть, не перестал ли дождь, хотя и так слышал, что он не перестал, всё так же шуршал по крыше.

Тем временем из щели у порога высунулась новая лопаточка. Прежде чем вылезти наружу, третья землеройка внимательно всё обнюхала. Как сыщик, который старается напасть на след, изучила пол у порога, напала на след и отправилась к столу. Она не слишком торопилась, обдумывая каждый шаг.

И пока она шла, пока взбиралась по бревенчатой стене на стол, я вдруг понял, что там, под Гнилым Кедровым Бревном, сидит мышиный король Землерой. Это он посылает своих подчинённых спасать Белозубку. Дядя Белозуб, грубый солдат, должен был действовать силой, хвостатый Сыщик – хитростью.

Как только Сыщик явился на столе, Белозубка и Белозуб насторожились, ожидая, что он будет делать.

Он обошёл перевёрнутые стаканы, обнюхал и третий,



треснутый, стал разглядывать мою руку, лежащую на столе.

Тут я понял, что он меня почти не видит. Глазки его привыкли к подземной темноте, и видел он только то, что было прямо перед его носом. А перед его носом была моя рука, и некоторое время Сыщик раздумывал, что это такое.

Я пошевелил пальцами. Сыщик вздрогнул, отпрыгнул в сторону и спрятался за спичечной коробкой. Посидел, съёжившись, подумал, быстро прокатился по столу, спустился на пол и шмыгнул в щель.

«Ваше величество! – докладывал, наверно, он королю Землерою. – Там за столом сидит какой-то тип и накрывает наших ребят стаканами».

«Стаканами? – удивился, наверно, Землерой. – В таёжной избушке стаканы? Откуда такая роскошь?»

«У прохожих геологов выменял».

«И много у него ещё стаканов?»

«Ещё один, треснутый. Но есть под нарами трёхлитровая банка, в которую влезет целый полк наших солдат».

Дождь к вечеру всё-таки немного поредел. Кое-где над тайгой, над вершиной горы Мартай наметились просветы, похожие на ледяные окна. Очевидно, там, на Мартае, дождь превращался в снег.

Я надел высокие сапоги, взял топор и пошёл поискать сушину на дрова. Хотел было отпустить пленников, но потом решил поддержать их ещё немного, поучить уму-разуму.

В стороне от избушки нашёл я сухую пихту и, пока рубил её, думал о пленниках, оставшихся на столе. Меня немного мучила совесть. Я думал, что бы я сам стал делать, если б меня посадили под стеклянный колпак.

«Ваше величество, он ушёл, – докладывали в это время лазутчики королю Землерою. – Сушину рубит и долго ещё

провозится. Ведь надо её срубить, потом ветки обрубить, потом к избушке притащить».

«Надо действовать, а то будет поздно», – предлагал хвостатый Сыщик.

«Валяйте», – согласился король.

Когда я вернулся в избушку, оба стакана были перевернуты, а третий, треснутый, валялся на полу и был уже не треснутый, а вдребезги разбитый.

На улице стемнело. Я затопил печку, заварил чаги. Свечу зажигать не стал – огонь из печки освещал избушку. Огненные блики плясали на бревенчатых стенах, на полу. С треском вылетала иногда из печки искра, и я глядел, как медленно гаснет она.

«Залез с ногами на нары и чагу пьёт», – докладывали лазутчики Землерою.

«А что это такое – чага?» – спросил король.

«Это – древесный гриб. Растёт на берёзе, прямо на стволе. Его сушат, крошат и вместо чая заваривают. Полезно для желудка», – пояснил королевский лекарь-Кухарь, который стоял у трона, искусно вырезанного из кедровой коры.

Сам Землерой сидел на троне. На шее у него висело ожерелье из светящихся гнилушек. Тут же был и дядя Белозуб, который возмущённо раздувал щёки.

«Меня, старого служаку, посадить в стакан! Я ему этого никогда не прощу! Сегодня же ночью укушу за пятку».

«Ладно тебе, – говорила Белозубка. – Что было – то прошло. Давайте лучше выпьем кваса и будем танцевать. Ведь сегодня наша последняя ночь!»

«Хорошая идея! – хлопнул в ладоши король. – Эй, квасовары, кваса!»

Толстенские квасовары прикатали бочонок, и главный Квасовар, в передничке, на котором написано было «Будь здоров», вышиб из бочки пробку.

Пенный квас брызнул во все стороны, и тут же объяви-

лись музыканты. Они дудели в трубы, сделанные из рыбьих косточек, тренькали на еловых шишках. Самым смешным был Балалаечник. Он хлестал по струнам собственным хвостом.

Дядя Белозуб выпил пять кружек кваса и пустился в пляс, да хвост ему мешал. Старый солдат спотыкался и падал. Король хохотал. Белозубка улыбалась, только Сыщик строго принюхивался к окружающим.

«Пускай Белозубка споёт!» – крикнул король.

Притащили гитару. Белозубка вспрыгнула на бочку и ударила по струнам:

*Я ничего от вас не скрою,
Я всё вам честно расскажу:
Всю жизнь я носом землю рою
И в этом счастье нахожу.
Своё я сердце вам открою:
Я всех готова полюбить,
Но тот мне дорог, кто со мною
Желает носом землю рыть.*

«Мы желаем! Мы желаем!» – закричали кавалеры.

«Пошли в избушку! – крикнул кто-то. – Там теплей и места больше!»

И вот на полу у горячей печки в огненных бликах появились Землерой и Белозубка, Сыщик, Лекарь и квасовары. Дядя Белозуб сам идти не мог, и его принесли на руках. Он тут же заполз в валенок и заснул.

Над печкой у меня вялились на верёвочке хариусы. Один хариусок свалился на пол, и землеройки принялись водить вокруг него хоровод. Я достал из рюкзака последние сухари, раскрошил их и подбросил к порогу. Это добавило нового веселья. Хрустя сухарями, Землерой запел новую песню, и все подхватили:



*Да здравствует мышинный дом,
Который под Гнилым Бревном.
Мы от зари и до зари
Грызём в том доме сухари!*

Всю ночь веселились у меня в избушке король Землерой, Белозубка и все остальные. Только к утру они немного успокоились, сели полукругом у печки и смотрели на огонь.

«Вот и кончилась наша последняя ночь», – сказала Белозубка.

«Спокойной ночи, – сказал Землерой. – Прощайте до весны».

Землерой, Белозубка, музыканты исчезли в щели под порогом. Дядю Белозуба, который так и не проснулся, вытащили из валенка и унесли под Гнилое Бревно. Только Сыщик оставался в избушке. Он обнюхал всё внимательно, забрался даже на стол, пробежал по нарам и, наконец, пропал.

Рано утром я вышел из избушки и увидел, что дождь давно перестал, а всюду – на земле, на деревьях, на крыше – лежит первый снег. Гнилое Кедровое Бревно так было завалено снегом, что трудно было разобрать – бревно это или медведь дремлет под снегом.

Я собрал свои вещи, уложил их в рюкзак и по заснеженной тропе стал подыматься на вершину Мартая. Мне пора уже было возвращаться домой, в город.

К обеду добрался я до вершины, оглянулся и долго искал избушку, которая спряталась в заснеженной тайге.



Солнце пекло уже которую неделю.

Лесная дорога высохла и побелела от пыли.

В колеях, где стояли когда-то глубокие лужи, земля лопнула, и трещины покрыли её густой сетью. Там, в колеях, прыгали маленькие, сухие лягушки.

Издалека я увидел: в придорожной канаве в кустах малины мелькает белый платочек. Небольшая старушка искала что-то в траве.

– Не иголку ли потеряли? – пошутил я, подойдя.

– Топор, батюшка. Вчера попрятала, да забыла, под каким кустом.

Я пошарил в малине. С коричневатых мохнатых стеблей и с вялых листьев сыпалась пыль. Топор блеснул в тени под кустами, как глубинная рыба.

– Вот он! – обрадовалась старушка, – А я-то думаю: не лесовик ли унёс?

– Какой лесовик?

– А в лесу который живёт. Страшный-то эдакий – бычьи бельмищи.

– Ну?

– Борода синяя, – подтвердила старушка, – а по ней пятнышки.

– А вы что, видели лесовика?

– Видела, батюшка, видела. Он к нам в магазин ходит сахар покупать.

– Откуда ж он деньги берёт?

– Сам делает, – ответила старушка и пошла с дороги. Её платочек сразу пропал в высокой траве и выпорхнул только под ёлками.

«Ну и ну!.. – думал я, шагая дальше. – Что же это за лесовик – бычьи бельмищи?»

Несмотря на солнечный день, темно было под ёлками. Где-нибудь в этой темноте, подальше от дороги, и сидит, наверно, лесовик.

Вдруг лес кончился, и я увидел большое поле, подобное круглому озеру. В самом центре его, как остров, стояла деревня.

Голубые масляные волны ходили по полю. Это цвёл лён. Высокий небесный купол упирался в лесные верхушки, окружавшие поле со всех сторон.

Я глядел на деревню и не знал, как она называется, и, уж конечно, не думал, что стану жить здесь, снова увижу старушку в белом платочке и даже лесовика.



Лесная дорога пошла через поле – стала полевой. Дошла до деревни – превратилась в деревенскую улицу.

По сторонам стояли высокие и крепкие дома. Их крыши были покрыты осиновой щепой. На одних домах щепы стала от ветра и времени серой, а на других была новой, золотилась под солнцем.

Пока я шёл к журавлю-колодцу, во все окошки смотрели на меня люди: что это, мол, за человек идёт?

Я споткнулся и думал, в окошках засмеются, но все оставались строгими за стеклом.

Напившись, я присел на бревно у колодца.

В доме напротив раскрылось окно. Какая-то женщина поглядела на меня и сказала внутрь комнаты:

– Напился и сидит.

И окно снова закрылось.

Подошли два гусака, хотели загоготать, но не осмелились: что это за человек чужой?

Вдруг на дороге я увидел старушку, ту самую, что искала в лесу топор. Теперь она тащила длинную берёзовую жердь.

– Давайте пособию.

– Это ты мне топор-то нашёл?

– Я.

– А я-то думала: не лесовик ли унёс?

Я взял жердь и потащил её следом за старушкой.

В пятиоконном доме распахнулось окно, и мохнатая голова высунулась из-за горшка с лимоном.

– Пантелевна, – сказала голова, – это чей же парень?

– Мой, – ответила Пантелевна. – Он топор нашёл.

Мы прошли ещё немного. Все люди, которые встречались нам, удивлялись: с кем это идёт Пантелевна?

Какая-то женщина крикнула с огорода:

– Да это не племянник ли твой из Олюшина?



– Племянник! – крикнула в ответ Пантелевна. – Он мне топор нашёл.

Тут я сильно удивился, что стал племянником, но виду не подал и молча попевал за Пантелевной.

Встретилась другая женщина, с девочкой на руках.

– Это кто берёзу-то везёт? – спросила она.

– Племянник мой, – ответила Пантелевна. – Он топор нашёл, а я думала: не лесовик ли унёс?

Так, пока мы шли по деревне, Пантелевна всем говорила, что я ей племянник, и рассказывала про топор.

– А теперь он берёзу мне везёт!

– А чего он молчит? – спросил кто-то.

– Как так молчу? – сказал я. – Я племянник ей. Она топор потеряла и думает, не лесовик ли унёс, а он в малинике лежал. А я племянник ей.

– Давай сюда, батюшка племянник. Вот дом наш.

Когда выстраивается шеренга солдат, то впереди становятся самые рослые и бравые, а в конце всегда бывает маленький солдатик. Так дом Пантелевны стоял в конце и был самый маленький, в три оконца. Про такие дома говорят, что они пирогом подпёрты, блином покрыты.

Я бросил берёзу на землю и присел на лавочку перед домом.

– Как называется ваша деревня? – спросил я.

– Чистый Дор.

– Чего чистый?

– Дор.

Дор... Такого слова я раньше не слышал.

– А что это такое – Чистый Дор?

– Это, батюшка, деревня наша, – толковала Пантелевна.

– Понятно, понятно. А что такое дор?

– А дор – это вот он весь, дор-то. Всё, что вокруг деревни, – это всё и есть дор.

Я глядел и видел поле вокруг деревни, а за полем – лес.

– Какой же это дор? Это поле, а вовсе не дор никакой.

– Это и есть дор. Чистый весь, глянь-ка. Это всё дор, а уж там, где ёлочки, – это всё бор.



Так я и понял, что дор – это поле, но только не простое поле, а среди леса. Здесь тоже раньше был лес, а потом деревья порубили, пеньки повывёргивали. Дёргали, дёргали – получился дор.

– Ну ладно, – сказал я, – дор так дор, а мне надо дальше идти.

– Куда ты, батюшка племянник? Вот я самовар поставлю.

Ну что ж, я подождал самовара. А потом приблизился вечер, и я остался ночевать.

– Куда ж ты? – говорила Пантелевна и на следующее утро. – Живи-ка тут. Места в избе хватит.

Жил и писал свою книжку. Не эту, а другую. Эту-то я пишу в Москве.

Гляжу в окошко на пасмурную пожарную каланчу и вспоминаю Чистый Дор.

Я подумал-подумал, послал куда надо телеграмму и остался у Пантелевны. Уж не знаю, как получилось, но только прожил я у неё не день и не месяц, а целый год.

У излучины реки Ял мы в старой баньке жил, между прочим, дядя Зуй.

Жил он не один, а с внучкою Нюркой, и было у него всё, что надо, – и куры, и корова.

– Свиньи вот только нету, – говорил дядя Зуй. – А на что хорошему человеку свинья?

Ещё летом дядя Зуй накопил в лесу травы и сметал стожок сена, но не просто сметал – хитро: поставил стог не на землю, как все делают, а прямо на сани, чтоб сподручней было зимой сено из лесу вывезти.

А когда наступила зима, дядя Зуй про то сено забыл.

– Дед, – говорит Нюрка, – ты что ж сено-то из лесу не везёшь? Ай позабыл?

– Какое сено? – удивился дядя Зуй, а после хлопнул себя по лбу и побежал к председателю лошадь просить.

Лошадь председатель дал хорошую, крепкую. На ней дядя Зуй скоро до места добрался. Смотрит – стожок его снегом занесён.

Стал он снег вокруг саней ногой раскидывать, оглянулся потом – нет лошади: ушла, проклятая!

Побежал вдогонку – догнал, а лошадь не идёт к стогу, упирается.

«С чего бы это она, – думает дядя Зуй, – упирается-то?»

Наконец-таки запряг её дядя Зуй в сани.

– Но-о-о!..

Чмокает дядя Зуй губами, кричит, а лошадь ни с места – полозья к земле крепко примёрзли. Пришлось по ним топориком постучать – сани тронулись, а на них стожок. Так и едет, как в лесу стоял.

Дядя Зуй сбоку идёт, на лошадь губами чмокает.

К обеду добрались до дому, дядя Зуй стал распрягать.

– Ты чего, Зуюшко, привёз-то? – кричит ему Пантелевна.



– Сено, Пантелевна. Чего ж иное?

– А на возу у тебя что?

Глянул дядя Зуй и как стоял, так и сел в снег. Страшная какая-то, кривая да мохнатая морда выставилась с воза – медведь!

«Р-ру-у-у!..»

Медведь зашевелился на возу, наклонил стог набок и вывалился в снег. Тряхнул башкой, схватил в зубы снегу и в лес побежал.

– Стой! – закричал дядя Зуй. – Держи его, Пантелевна.

Рявкнул медведь и пропал в ёлочках.

Стал народ собираться.

Охотники пришли, и я, конечно, с ними. Толпимся мы, разглядываем медвежьи следы.

Паша-охотник говорит:

– Вон какую берлогу себе придумал – Зуев стожок.

А Пантелевна кричит-пугается:

– Как же он тебя, Зуюшко, не укусил?..

– Да-а, – сказал дядя Зуй, – будет теперь сено медвежатиной разить. Его, наверно, и корова-то в рот не возьмёт.

Нюрке дядизуевой было шесть лет.

Долго ей было шесть лет. Целый год.

А как раз в августе стало Нюрке семь лет.

На Нюркин день рождения дядя Зуй напёк калиток – это такие ватрушки с пшённой кашей – и гостей позвал. Меня тоже. Я стал собираться в гости и никак не мог придумать, что Нюрке подарить.

– Купи конфет килограмма два, – говорит Пантелевна.
– Подушечек.

– Ну нет, тут надо чего-нибудь посерьёзнее.

Стал я перебирать свои вещи. Встряхнул рюкзак – чувствуется в рюкзаке что-то тяжёлое, ёлки-палки, да это же бинокль! Хороший бинокль. Всё в нём цело, и стёкла есть, и окуляры крутятся.

Протёр я бинокль сухой тряпочкой, вышел на крыльцо и навёл его на дядизуев двор. Хорошо всё видно: Нюрка по огороду бегает, укроп собирает, дядя Зуй самовар ставит.

– Нюрка, – кричит дядя Зуй, – хрену-то накопала?

Это уже не через бинокль, это мне так слышно.

– Накопала, – отвечает Нюрка.

Повесил я бинокль на грудь, зашёл в магазин, купил два кило подушечек и пошёл к Нюрке.

Самый разный народ собрался. Например, Федюша Миронов пришёл в хромовых сапогах и с мамашей Миронихой. Принёс Нюрке пенал из бересты. Этот пенал дед Мироша сплёл.

Пришла Маня Клеткина в возрасте пяти лет. Принесла Нюрке фартук белый, школьный. На фартуке вышито в уголке маленькими буквами: «Нюри».

Пришли ещё ребята и взрослые, и все дарили Нюрке что-нибудь школьное: букварь, линейку, два химических карандаша, самописку.

Тётка Ксения принесла специальное коричневое перво-классное школьное платье. Сама шила. А дядя Зуй подарил Нюрке портфель из жёлтого кожзаменителя.

Братья Моховы принесли два ведра черники.

– Целый день, – говорят, – собирали. Комары жгутся.

Мирониха говорит:

– Это нешкольное.

– Почему же нешкольное? – говорят братья Моховы. – Очень даже школьное.

И тут же сами поднавалились на чернику.

Я говорю Нюрке:

– Ну вот, Нюра, поздравляю тебя. Тебе теперь уже семь лет. Поэтому дарю тебе два кило подушечек и вот – бинокль.

Нюрка очень обрадовалась и засмеялась, когда увидела бинокль. Я ей объяснил, как в бинокль глядеть и как на что наводить. Тут же все ребята отбежали шагов на десять и стали на нас в этот бинокль по очереди глядеть.

А Мирониха говорит, как будто бинокль первый раз видит:

– Это нешкольное.

– Почему же нешкольное, – обиделся я, – раз в него будет школьница смотреть?

А дядя Зуй говорит:

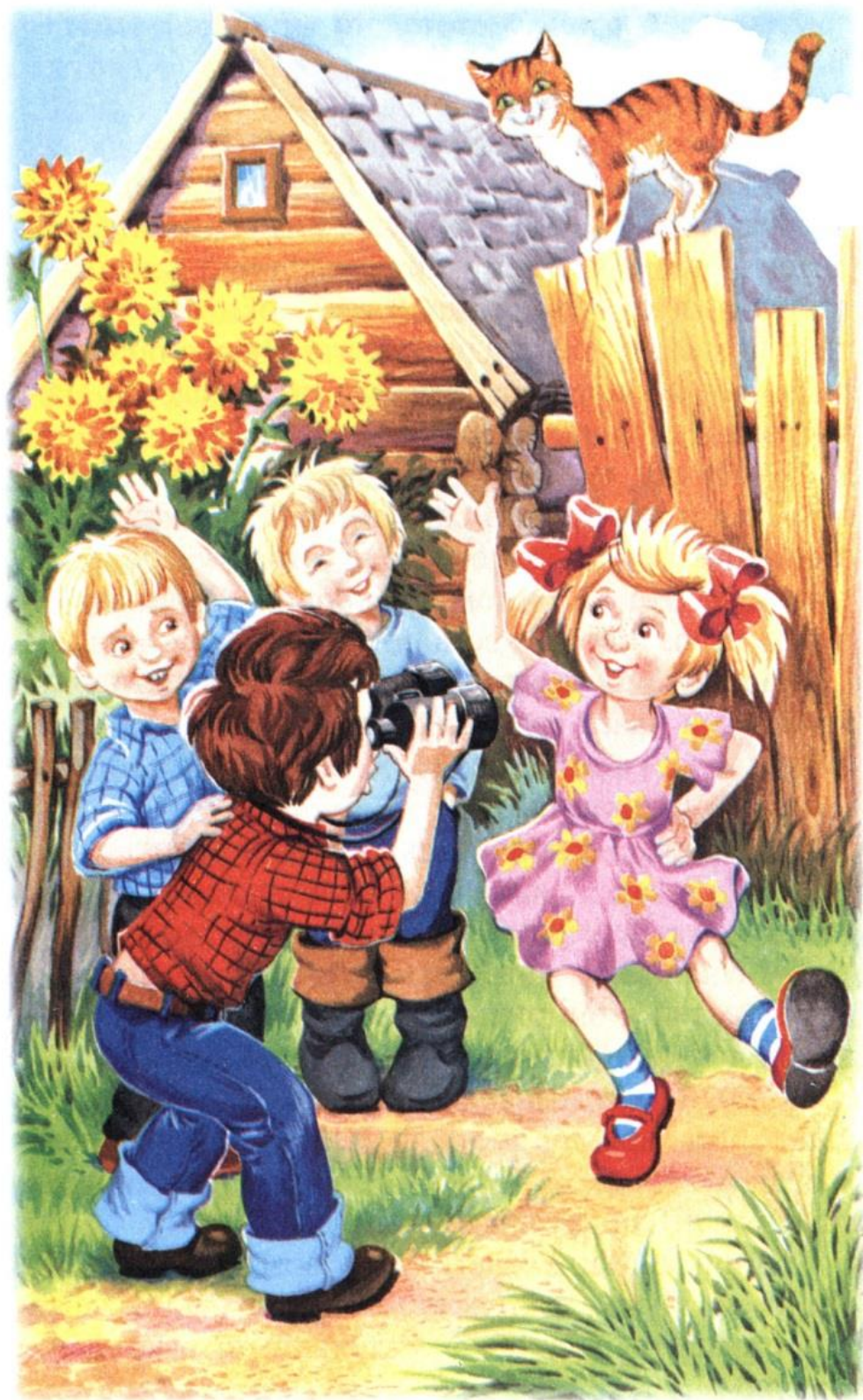
– Или с учителем Алексей Степанычем залезут они на крышу и станут на звёзды глядеть.

Тут все пошли в дом и как за стол сели, так и навалились на калитки и на огурцы. Сильный хруст от огурцов стоял, и особенно старалась мамаша Мирониха. А мне понравились калитки, сложенные конвертиками.

Нюрка была весёлая. Она положила букварь, бинокль и прочие подарки в портфель и носилась с ним вокруг стола.

Напившись чаю, ребята пошли во двор в лапту играть.

А мы сели у окна, и долго пили чай, и глядели в окно, как играют ребята в лапту, как медленно приходит вечер и как летают над сараями и над дорогой ласточки-касатки.



Потом гости стали расходиться.

– Ну, спасибо, – говорили они. – Спасибо вам за огурцы и за калитки.

– Вам спасибо, – отвечала Нюрка, – за платье спасибо, за фартук и за бинокль.

Прошла неделя после этого дня, и наступило первое сентября.

Рано утром я вышел на крыльцо и увидел Нюрку.



Она шла по дороге в школьном платье, в белом фартуке с надписью «Нюри». В руках она держала большой букет осенних золотых шаров, а на шее у неё висел бинокль.

Шагах в десяти за нею шёл дядя Зуй и кричал:

– Смотри-ка, Пантелевна, Нюрка-то моя в школу пошла!

– Ну-ну-ну... – кивала Пантелевна. – Какая молодец!

И все выглядывали и выходили на улицу посмотреть на Нюрку, потому что в этот год она была единственная у нас первоклассница.

Около школы встретил Нюрку учитель Алексей Степаныч. Он взял у неё цветы и сказал:

– Ну вот, Нюра, ты теперь первоклассница. Поздравляю тебя. А что бинокль принесла, так это тоже молодец. Мы потом залезем на крышу и будем на звёзды смотреть.

Дядя Зуй, Пантелевна, тётка Ксения, Мирониха и ещё много народу стояли у школы и глядели, как идёт Нюрка по ступенькам крыльца. Потом дверь за ней закрылась.

Так и стала Нюрка первоклассницей. Ещё бы, ведь ей семь лет. И долго ещё будет. Целый год.

Школа у нас маленькая.

В ней всего-то одна комната. Зато в этой комнате четыре класса.

В первом – одна ученица, Нюра Зуева.

Во втором – опять один ученик, Федюша Миронов.

В третьем – два брата Моховы.

А в четвёртом – никого нет. На будущий год братья Моховы будут.

Всего, значит, в школе сколько? Четыре человека. С учителем Алексей Степанычем – пять.

– Набралось-таки народу, – сказала Нюрка, когда научилась считать.

– Да, народу немало, – ответил Алексей Степаныч. – И завтра после уроков весь этот народ пойдёт на картошку. Того гляди, ударят холода, а картошка у колхоза невыкопанная.

– А как же кролики? – спросил Федюша Миронов.

– Дежурной за кроликами оставим Нюру.

Кроликов в школе было немало. Их было больше ста, а именно сто четыре.

– Ну, наплодились... – сказала Нюрка на следующий день, когда все ушли на картошку.

Кролики сидели в деревянных ящиках, а ящики стояли вокруг школы между яблонями. Даже казалось, что это стоят ульи. Но это были не пчёлы.

Но почему-то казалось, что они жужжат!

Но это, конечно, жужжали не кролики. Это за забором мальчик Витя жужжал на специальной палочке.

Дежурить Нюрке было нетрудно.

Вначале Нюрка дала кроликам всякой ботвы и веток. Они жевали, шевелили ушами, подмигивали ей: мол, давай-давай, наваливай побольше ботвы.

Потом Нюрка вымела клетки. Кролики пугались вени-

ка, порхали от него. Крольчат Нюрка выпустила на траву, в загон, огороженный сеткой.

Дело было сделано. Теперь надо было только следить, чтобы всё было в порядке.

Нюрка прошла по школьному двору – всё было в порядке. Она зашла в чулан и достала сторожевое ружьё.

«На всякий случай, – думала она. – Может быть, ястреб налетит».

Но ястреб не налетал. Он кружил вдалеке, высматривая цыплят.

Нюрке стало скучно. Она залезла на забор и поглядела в поле. Далеко, на картофельном поле, были видны люди. Они ползали по полю, как маленькие ситцевые жуки. Изредка приезжал грузовик, нагружался картошкой и снова уезжал.

Нюрка сидела на заборе, когда подошёл Витя, тот самый, что жужжал на специальной палочке.

– Перестань жужжать, – сказала Нюрка.

Витя перестал.

– Видишь это ружьё?

Витя приложил к глазам кулаки, пригляделся как бы в бинокль и сказал:

– Вижу, матушка.

– Знаешь, как тут на чего нажимать?

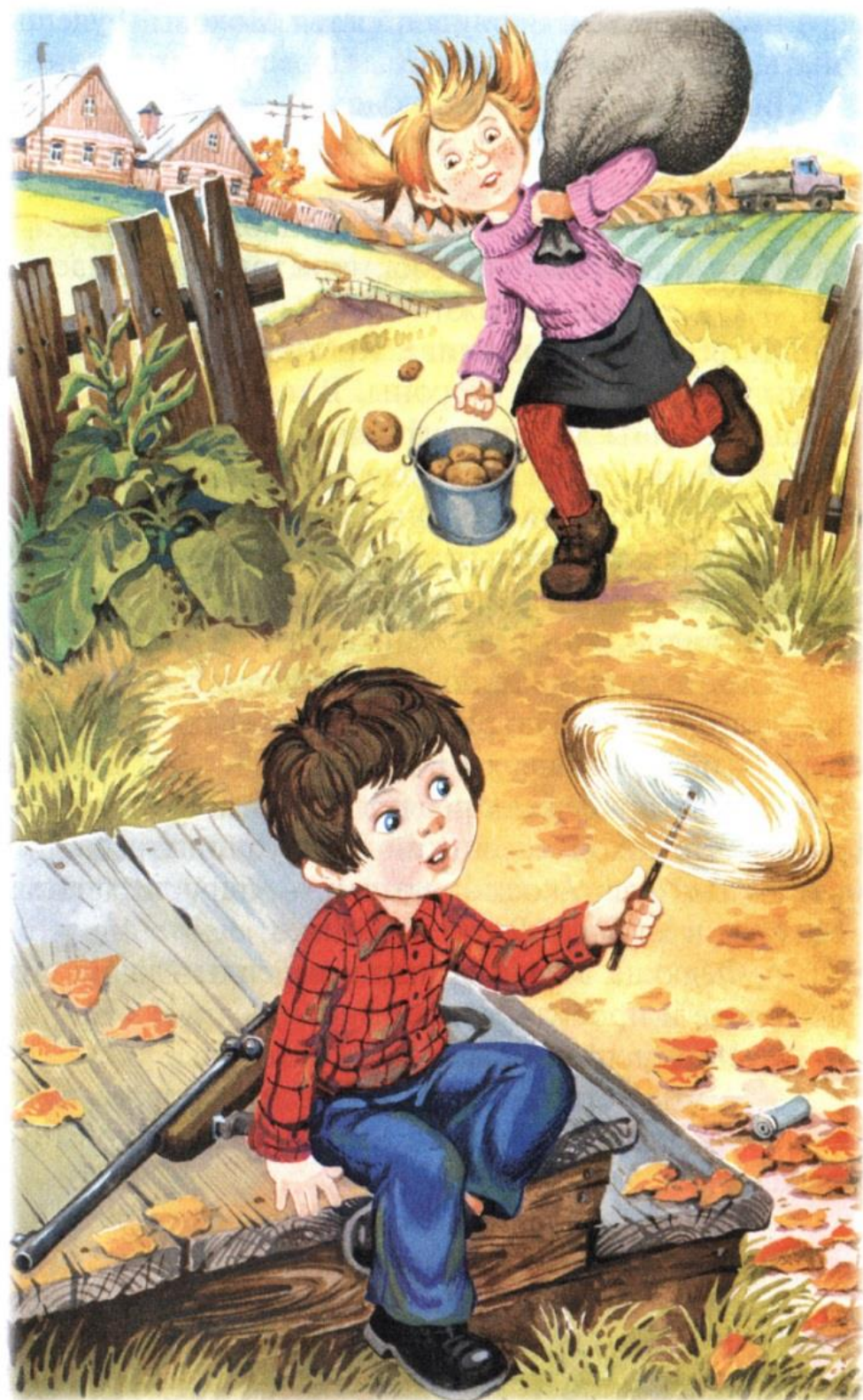
Витя кивнул.

– То-то же, – сказала Нюрка строго, – изучай военное дело!

Она ещё посидела на заборе. Витя стоял неподалёку, желая пожужжать.

– Вот что, – сказала Нюрка, – бери ружьё и садись на крыльцо. Налетит ястреб – стреляй беспощадно. А я сбегаю за ботвой для кроликов.

Витя сел на крыльцо, положив ружьё на ступеньку, а Нюрка достала из чулана ведро, порожний мешок и побежала в поле.



На краю поля лежала картошка – в мешках и отдельными кучами. Особый, сильно розовый сорт. В стороне была сложена гора из картофельной ботвы.

Набив ботвой мешок и набрав картошки, Нюрка пригляделась: далеко ли ребята? Они были далеко, даже не разобрать, где Федюша Миронов, а где братья Моховы.

«Добежать, что ль, до них?» – подумала Нюрка.

В этот момент ударил выстрел.

Нюрка мчалась обратно. Страшная картина представлялась ей: Витя лежит на крыльце весь убитый.

Мешок с ботвой подпрыгивал у Нюрки на спине, картофелина вылетела из ведра, хлопнулась в пыль, завертелась, как маленькая бомба.

Нюрка вбежала на школьный двор и услышала жужжание. Ружьё лежало на ступеньках, а Витя сидел и жужжал на своей палочке. Интересная всё-таки это была палочка. На конце – сургучная блямба, на ней петлюю затянут конский волос, к которому привязана глиняная чашечка. Витя помахивал палочкой – конский волос тёрся о сургуч: жжу...

– Кто стрелял? – крикнула Нюрка.

Но даже и нечего было кричать. Ясно было, кто стрелял, – пороховое облако ещё висело в бузине.

– Ну, погоди! Вернутся братья Моховы! Будешь знать, как с ружьём баловать. Перестань жужжать!

Витя перестал.

– Куда пальнул-то? По Мишукиной козе?

– По ястребу.

– Ври-ври! Ястреб над птичником кружит.

Нюрка поглядела в небо, но ястреба не увидела.

– Он в крапиве лежит.

Ястреб лежал в крапиве. Крылья его были изломаны и раскинуты в стороны. В пепельных крыльях были видны дырки от дроби.

Это было так чудно. Глядя на ястреба, Нюрка не вери-

ла, что это Витя его. Она подумала: может быть, кто-нибудь из взрослых зашёл на школьный двор. Да нет, все взрослые были на картошке.

Да, видно, ястреб просчитался.

Как ушла Нюрка, он сразу полетел за крольчатами, а про Витю подумал: мал, дескать. И вот теперь – бряк! – валялся в крапиве.

С поля прибежали ребята. Они завопили от восторга, что такой маленький Витя убил ястреба.

– Он будет космонавтом! – кричали братья Моховы и хлопали Витю по спине.

А Федюша Миронов изо всей силы гладил его по голове и просто кричал:

– Молодец! Молодец!

– А мне ястреба жалко, – сказала Нюрка.

– Да ты что! Сколько он у нас кроликов потаскал!

– Всё равно жалко. Такой красивый был!

Тут все на Нюрку накинулись.

– А кого тебе больше жалко? – спросил Федюша Миронов. – Ястреба или кроликов?

– И тех и других.

– Вот дурёха-то! Кроликов-то жальче! Они ведь махонькие. Скажи ей, Витька. Чего ж ты молчишь?

Витя сидел на крыльце и молчал.

И вдруг все увидели, что он плачет. Слёзы у него текут, и он совсем ещё маленький. От силы ему шесть лет.

– Не реви, Витька! – закричали братья Моховы. – Ну, Нюрка!

– Пускай ревёт, – сказала Нюрка. – Убил птицу – пускай ревёт.

– Нюрка! Нюрка! Имей совесть! Тебя же поставили сторожить. Зачем отдала ружьё? Сама должна была убить ястреба.

– Я бы не стала убивать. Я бы просто шуганула его. Он бы улетел.

Нюрка стала растапливать печку, которая стояла в саду. Поставила на неё чугунок с картошкой.

Пока варилась картошка, ребята всё ругались с ней, а Витя плакал.

– Вот что, Нюрка, – под конец сказал Федюша Мионов, – Витька к ястребу не лез. Ястреб нападал – Витька защищался. А в сторону такой парень стрелять не станет!

Это были справедливые слова.

Но Нюрка ничего не ответила.

Она надулась и молча вывалила картошку из чугуна прямо на траву.



Приехала к нам в деревню новая учительница. Марья Семеновна.

А у нас и старый учитель был – Алексей Степанович.

Вот новая учительница стала со старым дружить. Ходят вместе по деревне, со всеми здороваются.

Дружили так с неделю, а потом рассорились. Все ученики к Алексею Степановичу бегут, а Марья Семеновна стоит в сторонке. К ней никто и не бежит – обидно.

Алексей Степанович говорит:

– Бегите-ко до Марьи Семеновны.

А ученики не бегут, жмутся к старому учителю. И, действительно, серьёзно так жмутся, прямо к бокам его прижимаются.

– Мы её пугаемся, – братья Моховы говорят. – Она бруснику моет.

Марья Семеновна говорит:

– Ягоды надо мыть, чтоб сразу смыть.

От этих слов ученики ещё сильнее к Алексею Степановичу жмутся.

Алексей Степанович говорит:

– Что подделаешь, Марья Семеновна, придется мне ребят дальше учить, а вы заводите себе нулевой класс.

– Как это так?

– А так. Нюра у нас в первом классе, Федюша во втором, братья Моховы в третьем, а в четвертом, как известно, никого нет. Но зато в нулевом классе ученики будут.

– И много? – обрадовалась Марья Семеновна.

– Много не много, но один – вон он, на дороге в луже стоит.

А прямо посреди деревни, на дороге и вправду стоял в луже один человек. Это был Ванечка Калачев. Он месил глину резиновыми сапогами, воду запруживал. Ему не хотелось, чтоб вся вода из лужи вытекла.

– Да он же совсем маленький, – Марья Семеновна говорит, – он же ещё глину месит.

– Ну и пускай месит, – Алексей Степанович отвечает. – А вы каких же учеников в нулевой класс желаете? Трактористов, что ли? Они ведь тоже глину месят.

Тут Марья Семеновна подходит к Ванечке и говорит:

– Приходи, Ваня, в школу, в нулевой класс.

– Сегодня некогда, – Ванечка говорит, – запруду надо делать.

– Завтра приходи, утром пораньше.

– Вот не знаю, – Ваня говорит, – как бы утром запруду не прорвало.

– Да не прорвет, – Алексей Степанович говорит и своим сапогом запруду подправляет. – А ты поучись немного в нулевом классе, а уж на другой год я тебя в первый класс приму. Марья Семеновна буквы тебе покажет.

– Какие буквы? Прописные или печатные?

– Печатные.

– Ну, это хорошо. Я люблю печатные, потому что они понятные.

На другой день Марья Семеновна пришла в школу пораньше, разложила на столе печатные буквы, карандаши, бумагу. Ждала, ждала, а Ванечки нет. Тут она почувствовала, что запруду всё-таки прорвало, и пошла на дорогу. Ванечка стоял в луже и сапогом запруду делал.

– Телега проехала, – объяснил он. – Приходится починять.

– Ладно, – сказала Марья Семеновна, – давай вместе запруду делать, а заодно и буквы учить.

И тут она своим сапогом нарисовала на глине букву «А» и говорит:

– Это, Ваня, буква «А». Рисуй теперь такую же.

Ване понравилось сапогом рисовать. Он вывел носочком букву «А» и прочитал:

– А.



Марья Семеновна засмеялась и говорит:

– Повторение – мать учения. Рисуй вторую букву «А».

И Ваня стал рисовать букву за буквой и до того зарисовался, что запруду снова прорвало.

– Я букву «А» рисовать дольше не буду, – сказал Ваня, – потому что плотину прорывает.

– Давай тогда другую букву, – Марья Семеновна говорит. – Вот буква «Б».

И она стала рисовать букву «Б».

А тут председатель колхоза на газике выехал. Он погудел газиком, Марья Семеновна с Ваней расступились, и председатель не только запруду прорвал своими колесами, но и все буквы стер с глины. Не знал он, конечно, что здесь происходит занятие нулевого класса.

Вода хлынула из лужи, потекла по дороге, все вниз и вниз в другую лужу, а потом в овраг, из оврага в ручей, из ручья в речку, а уж из речки в далекое море.

– Эту неудачу трудно ликвидировать, – сказала Марья Семеновна, – но можно. У нас остался последний шанс – буква «В». Смотри, как она рисуется.

И Марья Семеновна стала собирать разбросанную глину, укладывать её барьерчиком. И не только сапогами, но даже и руками сложила всё-таки на дороге букву «В». Красивая получилась буква, вроде крепости. Но, к сожалению, через сложенную ею букву хлестала и хлестала вода. Сильные дожди прошли у нас в сентябре.

– Я, Марья Семеновна, вот что теперь скажу, – заметил Ваня, – к вашей букве «В» надо бы добавить что-нибудь покрепче. И повыше. Предлагаю букву «Г», которую давно знаю.

Марья Семеновна обрадовалась, что Ваня такой образованный, и они вместе слепили не очень даже кривую букву «Г». Вы не поверите, но эти две буквы «В» и «Г» воду из лужи вполне задержали.

На другое утро мы снова увидели на дороге Ванечку и Марью Семеновну.

– Жэ! Зэ! – кричали они и месили сапогами глину. –
Ка! Эль! И краткое!

Новая и невиданная книга лежала у них под ногами, и все наши жители осторожно обходили её, стороной объезжали на телеге, чтоб не помешать занятиям нулевого класса. Даже председатель проехал на своем газике так аккуратно, что не задел ни одной буквы.

Теплые дни скоро кончились. Задул северный ветер, лужи на дорогах замерзли.



Однажды под вечер я заметил Ванечку и Марию Семеновну. Они сидели на бревнышке на берегу реки и громко считали:

– Пять, шесть, семь, восемь...

Кажется, они считали улетающих на юг журавлей.

А журавли и вправду улетали, и темнело небо, накрывающее нулевой класс, в котором все мы, друзья, наверно, ещё учимся.



Я шёл на станцию через клеверище. Хотелось с кем-нибудь поговорить, но говорить было не с кем. Не с клевером же? Не с ромашками? С клевером что ни скажешь – получится глупость. Я остановился и сказал всё-таки:

– Да вот, на станцию иду.

Клеверище молчало, пошуршивая.

Вдруг послышался сбивчивый топот – и боком-боком выскочил на дорогу жеребёнок. Встал передо мной.

Доверчиво и недоверчиво смотрел он, не понимая, что я такое. Не столб ли какой?

– Да вот, на станцию иду, – пояснил я.

Жеребёнок кивнул, топнул копытцем и помчался по ромашкам. Неловко помчался, его заносило то вправо, то влево, и всё-таки это был какой-то пронзительный жеребёнок.

– Ой, нас угнали, нас угнали...

Послышалась песня, и на дорогу из-за бугра выехал пастух Агафон верхом на кобыле Тучке.

– Видал жеребёнка? – закричал он, – Только вчера родился! Вон какой скакун. Со звёздочкой!

Агафон рассказывал и смеялся, радовался, что на земле появился новенький конь.

– Ну, а ты-то как живёшь? – спросил он. – Что нового? Что хорошего?

– Да вот, – махнул я рукой, – на станцию иду.



ДЕД, БАБА И АЛЁША

Заспорили дед да баба, на кого похож их внук.

Баба говорит:

– Алёша на меня похож. Такой же умный и хозяйственный.

Алёша говорит:

– Верно, верно, я весь в бабу.

Дед говорит:



– А по-моему, Алёша на меня похож. У него такие же глаза – красивые, чёрненькие. И наверно, у него такая же борода большая вырастет, когда Алёша и сам вырастет.

Алёше захотелось, чтоб у него выросла такая же борода, и он говорит:

– Верно, верно, я больше на деда похож.

Баба говорит:

– Какая борода большая вырастет, это ещё неизвестно. Но Алёша на меня куда сильнее похож. Он так же, как я, любит чай с мёдом, с пряниками, с вареньем и с ватрушками с творогом. А вот как раз самовар поспел. Сейчас посмотрим, на кого больше похож Алёша.

Алёша подумал немного и говорит:

– Пожалуй, я всё-таки сильно на бабу смахиваю.

Дед почесал в затылке и говорит:

– Чай с мёдом – это ещё не полное сходство. А вот Алёша точно так же, как я, любит лошадь запрягать, а потом на санках в лес кататься. Вот сейчас зложим санки да поедем в лес. Там, говорят, лоси объявились, сено из нашего стожка щиплют. Надо поглядеть.

Алёша подумал-подумал и говорит:

– Знаешь, деда, у меня так странно в жизни получается. Я полдня на бабу похож, а полдня – на тебя. Вот сейчас чаю попью и сразу на тебя похож буду.

И пока пил Алёша чай, он точно так же прикрывал глаза и отдувался, как бабушка, а уж когда мчались на санках в лес, точно так, как дед, кричал: «Но-ооо, милая! Давай! Давай!» – и щёлкал кнутом.

Вороны вообще-то очень умные птицы. Идёшь, к примеру, без ружья и всегда подойдёшь к вороне близко, а уж если идёшь с ружьём – до вороны никогда не дойдёшь.

А тут у нас вдруг одна глупая ворона объявилась. С чем угодно к ней подойдёшь – хоть с ружьём, хоть с пушкой.

Но вообще-то к ней особенно и подходить никто не собирался. Все люди заняты, у всех заботы – не до ворон.

И тогда эта глупая ворона сама надумала к людям подходить. Подойдёт к трактору и смотрит, как тракторист гайки крутит. Или подлетит к магазину, сядет на крылечко и гладит: кто чего в сумке несёт – кто хлеб, а кто постное масло.

И особенно ворона привязалась к одной нашей деревенской бабе – Кольки-механизатора жене. Куда она идёт – туда и ворона летит. И уж если увидишь – глупая ворона крутится, значит, здесь где-то рядом и Кольки-механизатора жена.

Ребятишки, конечно, веселятся, да и взрослые дразнятся:

– Эй, привет! Воронья невеста!

– Да не воронья я невеста, а Кольки-механизатора жена!

Вот однажды пошла жена Колькина на колодец. Набрала воды, оглянулась, а ворона рядом на снегу сидит, глядит на неё вороньим глазом. Тут жена эта схватила ведро и окатила ворону с головы до ног. Обиделась ворона. Сидит на снегу мокрёхонька, глядит вслед глупой бабе.

Тут все в деревне напугались: замёрзнет ворона.

А ворона залетела в магазин, уселась там на прилавке, обсохла кое-как. А потом снова полетела Кольки-механизатора жену искать.



– Да что же это такое! – сказал я. – Чего она к ней привязалась? Ну, привязалась бы ко мне. Я бы её водой не обливал, я бы ей хлеба накрошил.

– И ничего особенного тут нет, – сказала Орехьевна. – У Кольки-то механизатора жены по две серьги в каждом ухе. Да и на шее побрякушки висят. Вороне нравится, как они блистают, летает за ней, побрякушку хочет. Вот и отдала бы вороне серьгу, небось не обедняла бы.

Не знаю уж, правильно сказала Орехьевна или нет. Но только если б за мной ворона летала, если б меня любила, я бы ей крошки хлебные сыпал и побрякушки дарил, а водой бы никогда не обливал. Но не меня полюбила ворона. Полюбила она жену Кольки-механизатора. Вот всё-таки какая глупая бывает на свете любовь!

Как только встал на реке крепкий лёд, я прорубил в нём пешнёю прорубь.

Круглое окно получилось во льду, а через окно, сквозь лёд, выглядывала чёрная живая вода.



Я ходил к проруби за водой – чай кипятить, баню топить – и следил, чтоб не зарастала прорубь, расколачивал ледок, выросший за ночь, открывал живую речную воду.

Соседка наша, Ксения, часто ходила к проруби бельё полоскать, а Орехьевна ругалась на неё через стекло:

– Ну кто так полощет?! Тыр-пыр – и в таз! Нет, не умеют нынешние бабы бельё полоскать. Ты положи подольше, не торопись. К телевизору-то поспеешь! Вот я бывало, раньше полоскала. Личико у меня от мороза – красное, руки – синие, а уж бельё-то – беленькое. А теперь все к телевизору торопятся. Тыр-пыр – и в таз!

Как-то раз пошла вместе с Ксеньей на речку дочка её маленькая, Наташка.

Пока мать полоскала, Наташка стояла в сторонке, а к проруби подходить боялась.

– Подойди, не бойся, – говорила мать.

– Не... не пойду... там кто-то есть.

– Да нету никого... кто тут есть?

– Не знаю кто. А только вдруг выскочит да и утащит под лёд.

Отполоскали соседки свои простыни и рубашки, пошли домой, и Наташка всё оглядывалась на прорубь: не вылезет ли кто?

Я подошёл к проруби поглядеть, чего она там боялась, не сидит ли и вправду кто-нибудь подо льдом.

Заглянул в чёрную воду и увидел в воде два тусклых зелёных глаза.

Щука придонная подошла к проруби подышать зимним, звонким, свободным воздухом.

Я вошёл в дом и застыл на пороге.

По полу разливалось молочное озеро. Вокруг него валялись осколки чашек, бутылка, ложки.

– Кто тут?! Кто тут, чёрт подери?!

В комнате всё было вверх дном. Только букет стоял на столе, целый и невредимый. Среди разгрома он выглядел как-то наглогато.

Показалось, что это букет во всём виноват.

Заглянул под печку – ни на печке, ни под печкой, ни в шкафу, ни под столом никого не было. А под кроватью я нашёл бидон, из которого вытекал белоснежный ручеёк превратившийся в озеро.

Вдруг показалось: кто-то смотрит!

И тут я понял, что это на меня смотрит букет.

Букет – подсолнухи, пижма, васильки – смотрел на меня наглыми зелёными глазами.

Не успел я ничего сообразить, как вдруг весь букет всколыхнулся, кувшин полетел на пол, а какой-то чёрный, невиданный цветок изогнул дугой спину, взмахнул хвостом и прямо со стола прыгнул в форточку.





ОСЕННЕЕ КОТЯРО

Падают листья на землю и на кота. А кот караулит, подстерегает и вдруг бросается на падающий лист, прихлопывает его лапой и грозно грызёт. Ему кажется, что это такие воробьи разноцветные.

«Глупое осеннее котяро, – думаю я. – Листья с воробьями путает».

А кот заметил, что я про него думаю, и затаился.

Падают листья, заваливают кота.

«Эх, и сам-то я, как опавший листок, – грустит кот. – Печально на душе, тоскливо».

«Какой листок? – думаю я. – Вон какая морда толстая да усатая».

«При чём здесь морда? На душе тяжело. Лежу вот под листьями, грущу».

«Чего ты грустишь-то, котяро осеннее?»

«Жалко как-то... Вот и птички улетают... Вам этого не понять».

До вечера лежал кот в подсолнухах, печалился.

Похолодало. Вскочил кот, выгнул дугою спину, фыркнул и помчался в дом. Сразу полез на печку.

«Хватит мне быть осенним котом, – ворчал он. – Стану теперь зимним».

В эту ночь и выпал первый снег.

ВОДА С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ

С рассветом начался очень хороший день. Теплый, солнечный. Он случайно появился среди пасмурной осени и должен был скоро кончиться.

Рано утром я вышел из дома и почувствовал, каким коротким будет этот день. Захотелось прожить его хорошо, не потерять ни минуты, и я побежал к лесу.

День разворачивался передо мной. Вокруг меня. В лесу и на поле. Но главное происходило в небе. Там шевелились облака, терлись друг о друга солнечными боками, и легкий шелест слышен был на земле.

Я торопился, выбегал на поляны, заваленные опавшим листом, выбирался из болот на сухие еловые гривы. Я понимал, что надо спешить, а то все кончится. Хотелось не забыть этот день, принести домой его след.

Нагруженный грибами и букетами, я вышел на опушку, к тому месту, где течет из-под холма ключевой ручей.

У ручья я увидел Нюрку.

Она сидела на расстеленной фуфайке, рядом на траве валялся её портфель. В руке Нюрка держала старую жестяную кружку, которая всегда висела на березке у ручья.

– Закусываешь? – спросил я, сбрасывая с плеч корзину.

– Воду пью, – ответила Нюрка. Она даже не взглянула на меня и не поздоровалась.

– Что пустую воду пить? Вот хлеб с яблоком.

– Спасибо, не надо, – ответила Нюрка, поднесла кружку к губам и глотнула воды. Глотая, она прикрыла глаза и не сразу открыла их.

– Ты чего невеселая? – спросил я.

– Так, – ответила Нюрка и пожала плечами.

– Может, двойку получила?

– Получила, – согласилась Нюрка.



– Вот видишь, сразу угадал. А за что?

– Ни за что.

Она снова глотнула воды и закрыла глаза.

– А домой почему не идешь?

– Не хочу, – ответила Нюрка, не открывая глаз.

– Да съешь ты хлеба-то.

– Спасибо, не хочу.

– Хлеба не хочешь, домой не хочешь. Что ж, так и не пойдешь домой?

– Не пойду. Так и умру здесь, у ручья.

– Из-за двойки?

– Нет, не из-за двойки, ещё кое из-за чего, – сказала Нюрка и открыла наконец глаза.

– Это из-за чего же?

– Есть из-за чего, – сказала Нюрка, снова хлебнула из кружки и прикрыла глаза.

– Ну расскажи.

– Не твое дело.

– Ну и ладно, – сказал я, обидевшись. – С тобой по-человечески, а ты... Ладно, я тоже тогда лягу и умру.

Я расстелил на траве куртку, улегся и стал слегка умирать, поглядывая, впрочем, на солнце, которое неумолимо пряталось за деревья. Так не хотелось, чтоб кончался этот день, ещё бы часок, полтора.

– Тебе-то из-за чего умирать? – спросила Нюрка.

– Есть из-за чего, – ответил я. – Хватает.

– Болтаешь, сам не зная... – сказала Нюрка.

Я закрыл глаза и минут пять лежал молча, задумавшись, есть мне от чего умирать или нет. Выходило, что есть. Самые тяжелые, самые горькие мысли пришли мне в голову, и вдруг стало так тоскливо, что я забыл про Нюрку и про сегодняшний счастливый день, с которым не хотел расставаться.

А день кончался. Давно уж миновал полудень, начался закат.

Облака, подожженные солнцем, уходили за горизонт. Горела их нижняя часть, а верхняя, охлажденная первыми звездами, потемнела, там вздрагивали синие угарные огоньки.

Неторопливо и как-то равнодушно взмахивая крыльями, к закату летела одинокая ворона. Она, кажется, понимала, что до заката ей сроду не долететь.

– Ты бы заплакал, если б я умерла? – спросила вдруг Нюрка.

Она по-прежнему пила воду мелкими глотками, прикрывая иногда глаза.

– Да ты что, заболела, что ли? – забеспокоился наконец я. – Что с тобой?

– Заплакал бы или нет?

– Конечно, – серьезно ответил я.

– А мне кажется, никто бы и не заплакал.

– Вся деревня ревела бы. Тебя все любят.

– За что меня любить? Что я такого сделала?

– Ну, не знаю... а только все любят.

– За что?

– Откуда я знаю, за что. За то, что ты – хороший человек.

– Ничего хорошего. А вот тебя любят, это правда. Если бы ты умер, тут бы все стали реветь.

– А если б мы оба вдруг умерли, представляешь, какой бы рев стоял? – сказал я.

Нюрка засмеялась.

– Это правда, – сказала она, – Рев был бы жуткий.

– Давай уж поживем ещё немного, а? – предложил я. – А то деревню жалко.

Нюрка снова улыбнулась, глотнула воды, прикрыла глаза.

– Открывай, открывай глаза, – сказал я, – пожалей деревню.

– Так вкусней, – сказала Нюрка.

– Чего вкусней? – не понял я.

– С закрытыми глазами вкусней. С открытыми всю воду выпьешь – и ничего не заметишь. А так – куда вкусней. Да ты сам попробуй.

Я взял у Нюрки кружку, зажмурился и глотнул.

Вода в ручье была студеной, от неё сразу заныли зубы. Я хотел уж открыть глаза, но Нюрка сказала:

– погоди, не торопись. Глотни ещё.

Сладкой подводной травой и ольховым корнем, осенним ветром и рассыпчатым песком пахла вода из ручья. Я почувствовал в ней голос лесных озер и болот; долгих дождей и летних гроз.

Я вспомнил, как этой весной здесь в ручье нерестились язи, как неподвижно стояла на берегу горбатая цапля и кричала по-кошачьи иволга.

Я глотнул ещё раз и почувствовал запах совсем уже близкой зимы – времени, когда вода закрывает глаза.



СОДЕРЖАНИЕ

- Алый
Картофельная собака
Капитан Клюквин
Белозубка
По лесной дороге
Чистый Дор
Стожок
Нюрка
Выстрел
Нулевой класс
Жеребёнок
Дед, баба и Алёша
Ворона
Прорубь
Букет
Осеннее котяро
Вода с закрытыми глазами

Серия «Школьная библиотека»

Коваль Юрий Иосифович

«АЛЫЙ» И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ

*Книжное литературно-художественное издание
для детей среднего школьного возраста*

Художник

Горбушин Олег Юрьевич

Главный редактор А. Алир

Литературный редактор И.Ф.Скороходова

Технический редактор М.В.Юдаева

Компьютерная вёрстка Д.А.Володин

Корректор С.П.Мосейчук

Ответственный за выпуск В.Н.Базиков

Подписано в печать 29.06.2015.

Формат 60x90 ¹/₁₆. Бумага офсетная.

Печать офсетная. Усл. п. л. 7.

Гарнитура «Ньютон».

Тираж 20 000 экз. Заказ № 5451.

ООО «Самовар-книги»

125047, Москва, ул. Александра Невского, д.1.

Информация о книгах на сайте www.knigi.ru

Оптовая продажа: ООО «Атберг 98»

(495) 925-51-39 www.atberg.aha.ru

Интернет-магазин: www.books-land.ru

Отпечатано в филиале «Тверской полиграфический комбинат
детской литературы» ОАО «Издательство «Высшая школа».

170040, Тверь, проспект 50 лет Октября, 46.

Тел.: +7(4822)44-85-98. Факс: +7(4822)44-61-51.

ЕАС

Артикул К-ШБ-02
ISBN 978-5-9781-1009-8

© Ю.И.Коваль, наследники, текст.

© ООО «Самовар-книги»,
иллюстрации, составление,
серийное оформление.

ШКОЛЬНАЯ



БИБЛИОТЕКА

Серия рекомендована
Департаментом
общего среднего образования
Министерства
общего и профессионального образования
Российской Федерации



Художник
Олег Торбушин



9 785978 110098 >